



Езетхан Уруйматова

СЕДЬМОЙ СЫН

**Отсканировано
11 июня 2013 года
специально для эл. библиотеки
паблика «Бәрзәфцәг»
(«Крестовый перевал»).**

**Скангонд әрцәд
2013 азы 11 июны
сәрмагондәй паблик «Бәрзәфцәг»-ы
чиныгдонән.**

<http://vk.com/barzafcag>

Езетхан Уруймагова

СЕДЬМОЙ СЫН



СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОРДЖОНИКИДЗЕ * 1965

C (Ocat.)
y 78.

РАССКАЗЫ ЕЗЕТХАН УРУЙМАГОВОЙ

Творчество Езетхан Уруймаговой (1905—1955) — одно из значительных явлений в послевоенной советской литературе. Ее литературная деятельность продолжалась недолго. Писательскую известность Е. Уруймаговой принесла книга, которая в короткое время стала очень популярной и выдержала несколько изданий. О ней заговорила критика. Она стала предметом споров и восторженных отзывов. Судьбы героев этой книги волновали читателей. От автора ждали продолжения, но тяжелая болезнь, а потом и ранняя смерть оборвали работу писательницы. Творческий замысел так и остался незавершенным.

Это был роман «Навстречу жизни». Задуманный как трилогия, он должен был охватить эпоху первой русской революции, годы реакции, последовавшие за ней события первой мировой войны и революции 1917 года. Далее писательница предполагала показать борьбу народов нашей страны за власть Советов и, наконец, социалистические преобразования. Действие романа-трилогии должно было разворачиваться не только в Осетии, но и в Сибири, Грозном, Баку, на турецком фронте, на полях сражений Великой Отечественной войны. Основная тема романа—это тема революции и

борьбы советского народа за торжество идей коммунизма.

В самом начале 1949 года из печати вышел I том трилогии (первоначальное название «Осетины»). Книга завоевала сердца читателей богатством содержания, значительностью идей, многообразием и сложностью ярких человеческих характеров, остротой сюжета и выразительностью средств художественного изображения.

Видный советский писатель Ю. Либединский свое впечатление от произведения Е. Уруймаговой сформулировал следующим образом: «Не только душа писателя, как это бывает при чтении талантливой книги,— душа целого неведомого мне народа открывалась передо мной».

В последние годы жизни Е. Уруймагова считала своей основной творческой задачей завершение работы над трилогией. Она мечтала о том, чтобы «показать, какими тернистыми путями осетины вместе с русскими тружениками шли навстречу новой жизни, которая началась с Октября 1917 года».

Но смерть пришла в то время, когда писательница работала над вторым томом трилогии. В 1958 году, уже после смерти автора, Северо-Осетинское издательство выпустило 34 главы второго тома. В это издание вошло почти все, что успела сделать Е. Уруймагова по осуществлению своего большого замысла.

Ранняя смерть Е. Уруймаговой была большой потерей не только для осетинской литературы. Н. Тихонов в 1959 году в одном из писем к автору этих строк, назвав Е. Уруймагову «очень талантливой», писал: «Если бы она так драматически не умерла, она бы создала еще не одно произведение, которое было бы украшением советской литературы».

Приход в литературу Е. Уруймаговой — первой женщины-осетинки, писавшей свои произведения на

русском языке,— сама ее жизнь и творчество оказались весьма знаменательными. Они явились ярким свидетельством коренных изменений, которые произошли в социально-экономической и культурной жизни осетинского народа за годы Советской власти, свидетельством его духовного обновления.

В самом деле, дочь горца-бедняка, в прошлом бесправного и обездоленного, поднялась на вершину советской культуры, стала одним из ее творцов и создателей, получила признание всесоюзного читателя, народа. Это всегда глубоко волновало писательницу. Во многих письмах, статьях и рассказах она стремилась дать ответ на вопросы, которые всегда неотступно стояли перед ней: что произошло с ее родным народом, какая сила подняла его на великие свершения, вывела из мрака к свету и счастью?

И, мысленно беседуя со своим учителем — А. С. Пушкиным,— Е. Уруймагова говорила: «Я — потомок тех бедных осетин, что поразили тебя когда-то своим страшным обликом. Та осетинка, что не смела из-под черного платка поднять к солнцу скорбных глаз,— теперь хозяйном шагает по аудиториям Ломоносовского университета, со сверкающей эстрады Московской консерватории, не робея, поет арию Антонида... Видишь,— дерзаю и я писать на твоём, на русском языке.— Как пришло это счастье? — спросишь ты меня. В твоей России родилась та титаническая сила, которую мы называем партией большевиков. Это она принесла человечеству Великий Октябрь, вызвав народы России из мрака к свету. Это она, партия, дала жизнь и моей Осетии... Я стала писателем потому, что есть Россия, есть русские писатели, есть Советская власть. Это чувство невысказанной благодарности я ношу постоянно в себе». («Великое спасибо!», 1951).

Осетинка по рождению, воспитанию и по духу,

страстно любящая свой родной народ, Е. Уруймагова была беззаветно предана ленинской идее интернационализма. В русской культуре она видела могучий, вечно живой и благотворный источник духовного обновления и подъема ее родной Осетии.

Полностью овладев всем лучшим, что принесла русская культура народам Кавказа, Е. Уруймагова в своем творчестве искала новых путей для развития и обогащения осетинской литературы. Созданные главным образом на русском языке, ее произведения не утратили национального аромата и своеобразия, того народного духа и очарования, которым отмечены подлинные произведения искусства. Напротив. В них нашло свое выражение удивительно гармоничное сочетание всего, что могла дать писателю художественная культура родного осетинского народа, его дух и характер, с тем, что пришло от богатств великого русского языка, русской литературы, от ее колоссального опыта и передовых традиций.

Вот эта гармония осетинского и русского, чисто национального и общесоветского как раз и является одним из ярких примеров, характеризующих те качественные изменения, которые происходят в многонациональной советской литературе в нашу эпоху. И с этой точки зрения творческий опыт Е. Уруймаговой для осетинской да и других кавказских литератур является чрезвычайно ценным. В нем совершенно отчетливо видны новаторские черты.

Кое-кто из незадачливых критиков вскоре после опубликования первой книги трилогии упрекал писательницу за то, что она пишет по-русски. Имея в виду этих критиков, Е. Уруймагова тонко заметила: «Носить черкеску — это еще не значит быть горцем, писать только на языке своих отцов — это еще не означает принадлежность своему народу и его культуре».

И, как бы развивая эту мысль, в одном из официальных писем (15 июля 1952 года) Е. Уруймагова говорит: «Я сделала все, что могла, для того, чтобы принадлежать тому народу, из которого я вышла... без любви которого я не мыслю себя писателем. Истоки моего творческого волнения находятся только у этого... народа... Я люблю Осетию, я от плоти и крови этого народа... Я не тщеславна, но горжусь, что овладела тем языком, на котором писали Пушкин, Толстой, Ленин...»

Творчество писательницы-коммунистки Е. Уруймаговой проникнуто подлинной партийностью. Высокая идейность и страстность, значительность тематики и активное отношение к жизни, эстетическая культура и совершенство формы выдвинули ее роман «Навстречу жизни» в число лучших произведений послевоенной осетинской литературы.



Отдавая свои творческие силы главным образом работе над монументальным произведением исторического характера, Е. Уруймагова, однако, не оставалась равнодушной и к теме современности. Жизнь и дела людей ее эпохи постоянно волнуют писательницу. Именно эта крепкая связь с жизнью, острая потребность участвовать в ее явлениях, оценивать их и помогать своему народу в его борьбе и созидательном труде приводят Е. Уруймагову к работе над более оперативными жанрами. В газетах и журналах, в альманахе и сборнике печатаются ее рассказы, очерки, яркие публицистические статьи, а на сцене Северо-Осетинского драматического театра идут пьесы.

В 1951 году в городе Орджоникидзе был издан небольшой сборник рассказов Е. Уруймаговой под наз-

ванием «Самое родное». В этой книге десять произведений. При жизни писательницы ее рассказы больше не печатались. Лишь в последнее время удалось собрать те произведения Е. Уруймаговой, которые по разным причинам остались неопубликованными. Большинство из них включено в настоящий сборник. Их идейно-художественный уровень неодинаков. Это объясняется прежде всего незавершенностью авторской работы над произведениями, которые мы публикуем впервые. Степень этой незавершенности различна: одни требовали лишь окончательной шлифовки, другие сохранились в первоначальном черновом варианте. Однако и в таком виде, на наш взгляд, они представляют определенный интерес.

В тематическом отношении рассказы и очерки Е. Уруймаговой весьма многообразны. Наиболее видное место занимают произведения, посвященные теме героической борьбы советских людей с гитлеровскими захватчиками. Это и понятно. В годы Великой Отечественной войны писательница принимала непосредственное участие в оборонных работах, сотрудничала в военной печати, муж ее был кадровый офицер.

Основной герой рассказов Е. Уруймаговой, написанных в военные годы,— это человек-борец и патриот. Сильный духом, он проходит через все испытания. Ему не страшны лишения и страдания. Сама смерть не может сломить его веру в правоту того дела, за которое он готов отдать свою жизнь. «Все для победы, все для свободы родины и счастья народа» — вот идеал, которому посвящает себя герой рассказов Е. Уруймаговой. Таковы фельдшерица Ольга Васильевна («Каракулева шуба», 1943), старая Сафиат («Седьмой сын», 1944), Нина и пленные девушки из рассказа «Песня полонянки» (1945).

Пафос героической жизни этих людей подчеркнут эпиграфом, предпосланным рассказу «Седьмой сын».

О крови той, что пролита обильно,
О крови той, что даром не прошла...

(Н. Тихонов).

В другом рассказе героиня советских людей с особой силой подчеркивается умелым использованием стихов Т. Шевченко, которые легли в основу народной песни. Оказавшись в фашистском застенке, девушки из рассказа «Песня полонянки» поют:

Не убьет ес, не сломит
Никакая сила...

Уже в ранних рассказах Е. Уруймаговой, написанных под непосредственным впечатлением военных событий, отчетливо ощущается своеобразие писательского дарования автора. Острый драматический сюжет, динамика действия и, главное, умение несколькими сочными штрихами дать точную характеристику героя — вот наиболее сильная сторона ее рассказов, в стиле которых гармонически сочетаются трезвый реализм и элементы возвышенной романтики.

Старшее поколение нашего народа, пережившее тяжелые испытания, героиню и духовный подъем, вызванные освободительной войной, уже никогда не забудет тех лет. И так же, как у многих советских писателей, в творчестве Е. Уруймаговой до конца ее жизни тема Великой Отечественной войны звучала в ряде рассказов и очерков. Но с годами, кроме непосредственного показа военных событий, в ее произведениях появляются и новые мотивы.

Писательница проявляет особый интерес к послевоенным судьбам вчерашних защитников Родины.

Ее волнует то, как человек находит свое место в новых, мирных условиях жизни. Главное, чтобы он не почил на лаврах, не остался в стороне от напряженной созидательной работы по восстановлению разрушенного

хозяйства, которую вел в эти годы советский народ. Именно эту мысль утверждает Е. Уруймагова уже в первом послевоенном рассказе «Настоящая должность» (1946), а затем продолжает разрабатывать в таких рассказах, как «Неистовый» (1947) и «По долгу службы» (1954).

Осмысливая события послевоенной жизни, Е. Уруймагова стремится в своих произведениях сказать веское слово в защиту мира. Эта тема глубоко волнует ее. «Нет, нет! Нельзя молчать, если матери хотят видеть живых детей, если юность хочет пройти по сверкающим дорогам жизни. Если старость имеет право на покой и радость,— то нельзя молчать!» («Наша дорога», 1951). Писательница не только говорит о мире страстным языком публициста. Защите мира она отдает немало времени и сил, принимая самое деятельное участие в работе Республиканского Комитета сторонников мира.

Наряду с этим во многих послевоенных рассказах Е. Уруймаговой звучит тема интернационализма, исторического содружества русского и осетинского народов.

Каждый раз, возвращаясь к прошлому своей родной Осетии, писательница испытывает глубокое волнение. Много, очень много страданий выпало на долю ее народа. Было все: и беспросветная нужда, и бесчеловечное угнетение со стороны феодальной верхушки и царских колонизаторов, и мрак невежества. И обо всем этом Е. Уруймагова не может говорить спокойно. Сюжеты ее рассказов приобретают особую драматическую напряженность, конфликты получают ярко выраженный социальный характер, а язык обогащается сочными красками, что придает ему особую эмоциональность и выразительность.

Все симпатии писательницы на стороне тех героев, которые поднимаются на борьбу с темными силами

старого мира. Их она стремится показать во весь рост, во всей физической и духовной красоте. И для автора неважно, в какой области ее герои раскрывают свои лучшие качества — на поле брани или в условиях мирной жизни. Важно другое — честный человек не может мириться со всем тем, что мешает людям быть по-настоящему счастливыми. Круг этих вопросов находит свое художественное освещение в таких произведениях, как «Чинаровая роща» (1934), «Плиевские трофеи» (1948), «В моем городе» (1949), «Два детства» (1950), «Суд» (1951) и др.

Е. Уруймагова как бы стремится сказать своему читателю: да, все было пережито народом — горе, страдания, унижения. Но все это уже в прошлом и никогда не повторится, ибо народ наш, познав силу ленинских идей, их бессмертие и величие, созидает новую жизнь. И творит свое будущее он в дружной семье братских народов страны социализма, которые идут путем, освещенным лучами рубиновых звезд московского Кремля.

Эта глубокая, волнующая убежденность писательницы так, например, выражается в одном из очерков.

— Скажите, что вы чувствуете вот сейчас, подъезжая к Москве? — раздается за спиной молодой звенящий голос.

Я оглядываюсь. Девушка, натягивая на руку варежку, говорит:

— Я знаю вас, я тоже осетинка... Первый раз в Москве... Я буду учиться в консерватории. Давайте выйдем вместе.

Она прижимается ко мне, и кажется, что я слышу биение ее сердца.

...Скажи, Москва! Каким именем может назвать тебя эта девушка с гор, перед которой так светла жизнь и столько надежд впереди?

А я каким тебя назову именем, Москва, я — жен-

щина с седой головой и юным сердцем, которую ты вызвала из мрака, сделала человеком?» («Москва», 1951).

* *
*

Выше мы уже говорили о художественной неравноценности рассказов и очерков, помещенных в этом сборнике. На чем основывается подобное заключение?

В выборе темы и материала для своих произведений Е. Уруймагова почти всегда обнаруживала чуткость и требовательность. Она умела найти значительные по содержанию конфликты, отличавшиеся актуальностью, очень острые, интересные сюжеты, в которых сталкиваются различные характеры. Однако при всем этом в некоторых ее рассказах (даже полностью законченных и опубликованных при жизни автора) чувствуется поспешность в разрешении основного конфликта, поверхностное решение большой темы. Не всегда поступки героев в этих случаях получают достаточно убедительную художественную мотивировку, и произведение грешит схематизмом.

Приведем такой пример. Бывалый солдат прошел через горнило войны. За свои подвиги был награжден орденом Красной Звезды, но ему кажется, что он далеко не все сделал, что командир не сумел по-настоящему использовать его потенциальных возможностей, оставив на должности «кашеноса». Вот и теперь, вернувшись в родной колхоз, он думает, что председатель тоже делает ошибку: не дает ему настоящую должность, а назначает всего лишь звеньевым и предлагает бывалому солдату работать, подчиняясь девушке-бригадиру.

«Нет, ни за что! Лучше сторожем на бахчу пойду!» — восклицает он запальчиво. Но председатель колхоза произносит несколько разъяснительных фраз, и Ни-

колай тут же принимает иное решение: «Завтра выйду на работу». («Настоящая должность»).

В жизни, конечно, подобные крутые повороты во взглядах сложившегося человека происходят значительно сложнее, порою вызывают напряженную борьбу. Здесь автор упростил разрешение конфликта и тем самым в какой-то степени обеднил свое произведение. Нечто подобное читатель может заметить и в некоторых других произведениях Е. Уруймаговой (например, «В горах»).

Писательнице не всегда удавалось преодолеть трудности жанра рассказа. Вот почему некоторые ее произведения носят полуочерковый характер. В них ослаблен сюжет и очень сильно звучит публицистика. Идея произведения раскрывается не в образе, а непосредственно авторскими сентенциями («Плиевские трофеи», «Наша дорога»). А такой рассказ, как «На раскопках», наоборот, потерял ясность конечной мысли из-за увлечения автора внешне эффектными, романтически яркими картинками.

Наиболее сильной как художник Е. Уруймагова оказывается в тех произведениях, где человеческий характер рисуется в развитии, в процессе его формирования. В этом отношении особый интерес представляют рассказы «Седьмой сын», «Неистовый», «По долгу службы». Они вбирают в себя очень большой жизненный материал. Его могло бы хватить на целую повесть. Но Е. Уруймагова умела сказать о многом очень коротко. И достигала она этого прежде всего весьма тщательным отбором самых ярких и самых характерных поступков из жизни героя, которые, словно вехи, отмечали его духовное развитие.

Вот, например, герой рассказа «Неистовый». Впервые мы встречаем его еще на школьной скамье. «Он ничем не выделялся среди других учеников. Серые ти-

ковые шаровары были закатаны выше колен, косоворотка в заплатах перетянута ремешком из сыромятной кожи. На узком девичьем лице светились большие озорные глаза; острый нос был усыпан теплыми веснушками. Учился он посредственно, часто шалил. Однажды на уроке связал тонкой ниткой несколько мух и пустил их по классу.

— Володькина эскадрилья! — закричали ребята.

Я выгнала его из класса. Вместо того, чтобы выйти в дверь, он выскочил в окно».

Вслед за этим автор дает еще одну сцену из детства Владимира: он попал в милицию за озорство. Два небольших эпизода всего лишь на две страницы, но как ярко очерчен и внешний и внутренний облик маленького героя! Так и видишь этого живого, пытливого и озорного мальчугана, но за всем этим ощущается нежное и доброе сердце. Его трогательная любовь к матери подкупает с первого знакомства. Веришь, что позднее это большое чувство сложится в ту великую силу патриотизма, которая определит характер всей жизни героя.

И действительно, предчувствие не обманывает читателя. Каждая последующая встреча с Владимиром — это не только новая страница из его биографии, но и новые штрихи в его характере. Бригадир молодежной бригады в колхозе... Защитник Москвы на фронте... Раненый в санитарном поезде... И вот последний эпизод: потеряв руку на войне, Владимир возглавляет родной колхоз. Работа для него стала источником величайшего вдохновения. Он творит, мечтает, увлечен своим делом. Он весь в порыве к светлому будущему. Романтика мечтателя и трезвый практический ум сочетаются в этой духовно богатой натуре. Труд для него — поэзия жизни, счастье людей — цель, для достижения которой отдаются все силы. Так любовь к матери у озорного маль-

чугана со временем становится одним из источников благородного чувства советского патриотизма.

Рассказ «Неистовый» — одно из лучших произведений сборника. В нем наиболее полно выразились сильные стороны художественного мастерства писательницы. Е. Уруймагова прекрасно владела искусством композиции и четко, выпукло лепила характер, повествование у нее всегда велось динамично, без излишних длиннот, а речь отличалась сочетанием экспрессивности с лаконизмом и энергичностью лермонтовской прозы.

* *

*

Очень коротким был творческий путь Е. Уруймаговой — всего лишь несколько лет. В литературу она пришла уже зрелым человеком, с большим жизненным опытом и богатством впечатлений. Она много видела и знала. Она много думала. О всем этом ей хотелось рассказать людям, помочь им устроить свою жизнь как можно лучше. В своих чувствах она была очень искренна, в своих произведениях — очень эмоциональна.

В ее художественной прозе и публицистике всегда ощущается горячее сердце автора, который не может жить, «добру и злу внимая равнодушно». Ее короткий творческий путь — это постоянные искания своего места в искусстве социалистического реализма. Здесь были и радости и печали. Были большие творческие удачи и просчеты. Было все то, что связано с процессом становления писателя.

Произведения, которые читатель найдет в данном сборнике, как раз и запечатлели этот сложный процесс. Они помогут еще лучше, еще глубже понять самобытный характер творческого облика Езетхан Уруймаговой — бесспорно талантливой советской писательницы.



РАССКАЗЫ

ЧИНАРОВАЯ РОЩА



рассветом ветер прорвался в ущелье. Мутная ночь сменилась прозрачным утром. Словно обвал — эхом в горах отозвался сперва пронизывающий свист, затем грохот. Горы поглотили свист, за ним другой. Небольшой, стиснутый казачьими землями аул, в прошлом за свое вольнодумье не пользовавшийся доверием царя, не раз слышал свист. И когда в феврале 1917 года прогрехотал первый выстрел, аул не испугался. Сегодня вместе с этим свистящим звуком в серые каменные стены просочилась холодная тревога... Неприятно ожил, засуетился аул. Завыли собаки, застонали ржавые петли, у здания ревкома затолпились мохнатые шапки, овчинные шубы.

Проскакал конь, за ним другой, третий, и черные бурки всадников, как траурные покрывала, замелькали чаще. Куда прятал аул столько смелых человеческих жизней? В толпу врезался всадник, немигающим глазом охватив ее сразу, просто сказал:

— Страшного ничего нет, это белые через Военно-Грузинскую дорогу хотят пробраться

в Грузию, а оттуда за границу. С севера на-
пирают на них красные, в эти ворота они
хотят спрятать разбитую голову, но пускать
их дальше нельзя, по пути разоряют они на-
ши аулы.

Последние слова заглушил снова свистя-
щий звук, а потом грохочущее эхо в горах.
Черные всадники на конях задвигались тре-
вожно, где-то на свист завывла собака.

— Мухар, води отряд к реке, буду и я сей-
час, замок с горняшки сниму, стрелять некому
из нее — так будет лучше,— выпалил залпом
Атарбек.

Снова мелькали черные бурки. Тишина,
зловеще выжидая, на миг стянула кривень-
кие улицы аула. Окруженный волчьим отря-
дом Шкуро, аул, за час еще спокойно спав-
ший, притаился в знакомых естественных при-
крытиях.

Затрещал за рекой пулемет белых, на него
сухими одинокими хлопками ответил аул. К
развалине древней часовенки, куда каждый
год с первым громом язычник-осетин приносит
обильные жертвы, быстро бороздя снег, Му-
хар притащил «максимку». Устанавливая его
за обрывчиком, он громко позвал:

— Атарбек, готово, стреляй!

Брат легко выскочил из канавы и, шмыг-
нув за часовенку, серым концом башлыка за-
цепился за сухую ветку кустарника:

— У-у-у!..— зло отрывая башлык, выру-
гался он и прилип к земле.

В 1914 году, в жаркий сентябрьский пол-
день жужжали пчелы, слетая на виноградный
мед. С родимых гор на далекую чужбину угна-

ла война и Атарбека вместе со многими осетинами. По случаю ранения отстав от своего полка, попал Атарбек в пулеметную команду подносчиком патронов. Дни вплетались в недели, недели в месяцы, прошумело два года в окопах. Дождливым апрельским утром повстречались соседи — Атарбек и Гаспар.

— Долговечен да будет твой род, Атарбек! Как воюешь, сосед? Расскажи. Скоро германца побьем и тогда в горы, — весело проговорил Гаспар, подавая ему руку.

— Да, и тогда в горы... — сквозь зубы процедил солдат и замолчал; рябинки на лице вспыхнули, тонкий длинный нос задышал часто, серый прищуренный глаз перебросился с лакированных носков офицерских сапог на тонкую руку с голубыми жилками...

И сейчас, припадая к пулемету, Атарбек снова вспомнил кисть руки с голубыми жилками. Захаркал пулемет горячим свинцом. Вразнобой трещали винтовки разных систем. За рекой, пронизывающе свистя, разорвался снаряд.

— Перелетел, — злорадно прошипел Атарбек, вставляя ленту в приемник.

Ветер свирепо сеял холод и человеческий стон; а за рекой, быстро перебегая черными точками, отряд белых приближался к аулу. Стрельба усиливалась. Синевой застилая горы, холодная ночь наступала быстро, как будто ничего не случилось.

— Лента кончилась, патронов почти нет, — выдохнул Атарбек и подумал: «Пулемет сломать? Нет, спрятать, не ломать».

— К ущелью, к чинаровой роще! — про-

кричал Атарбек и, казалось, тем же ответили горы...

Взрывая снег, кони неслись к знакомым тропам за рекой.

— Гаспар, Гаспар! — тревожно пробежало от всадника к всаднику.

— Прорвать цепь, растерзать собачьего сына! — не своим голосом кричал Атарбек, размыкая фиолетовые губы.

Серая тонконогая кабардинка, высоко задрав голову, несла его прямо к чинаровой роще. Лошадь остановилась, заржала, пулемет из рощи выщелкал две очереди и замолк. Лошадь слева от Атарбека резко мотнула головой, неловко подогнула передние ноги и, падая на правый бок, смяла под собой седока. Обветренный, грубый голос чуть слышно шептал:

— Гаспар, уйдет опять Гаспар.

Снова защелкал пулемет, кони в беспорядке метнулись влево, потом вправо, и за крошечным бугорком отряд на минуту затаил дыхание, а потом черная пасть рощи одного за другим поглотила всадников. Гортанные крики, обрывки русской речи слышны были далеко за аулом. Серая кабардинка круто остановилась — железный трензель сдавил ей рот. На миг остановилось и время...

— Гаспар, собачий сын, пил холопскую кровь, дай попробовать твоей голубой! — заглушая порыв ветра, закричал Атарбек и, отразив удар шашки, заскочил на вороного коня.

— Патронов тратить не надо, Гаспар, камней много... Казак-кубанец дорогу в ущелье без тебя не найдет! — прохрипел Атарбек, вы-

тирая о подол черкески скользкий окровавленный кинжал...

Здесь, у дверей ущелья, оставил молодой партизанский отряд своих лучших бойцов. Ночью в волчьем становище при свете сосновой лучины Атарбек, подсчитывая отряд, не досчитался половины. Лошадь Мухара в ущелье пришла одна — не сберегли мальчика.

— Ну берегись же теперь, шакаля поро-
да! — скрежеща зубами, промолвил Атарбек, и замолкли все...

В темноте, в знакомом становище фыркнули лошади; пахло овчинами, лежалым сеном, потом: спало шестьдесят душ. Не спал Атарбек. Пробила пуля, вместе с жизнью Мухара, и последнее сомнение в сердце его: офицер-осетин не лучше офицера-русского...

КАРАКУЛЕВАЯ ШУБА



1

Лесная живописно раскинулась в долине, уползала на холмы. Бурная горная река делит ее пополам. Осенью и зимой река — мелкая, прозрачная, летом — многоводная.

На самом красивом месте крутого берега, утопая в густых фруктовых садах, высится двухэтажное кирпичное здание районной больницы. В опустевшем саду больницы тоскливо. Больница эвакуировалась, остались только несколько тяжело больных, повариха, конюх, молодая хирургическая сестра Зоя и пожилая фельдшерица Ольга Васильевна.

С пушистыми, белыми, как снег, волосами, Ольга Васильевна величественна. Она с гордостью носит на груди медаль «За трудовую доблесть», а во внутреннем кармане серого шерстяного платья — партийный билет.

Хирургическая сестра Зоя, красивая шатенка, в шутку называет Ольгу Васильевну «доктором» и услужливо ей подчиняется.

Октябрь. Густой молочный туман висит над холмами, над неснятыми полями кукурузы и картофеля.

С утра прекратилась канонада. Больные поворачивают головы, и в их безмолвно-вопрошающих лицах Ольга Васильевна читает тревогу. «Почему не стреляют? Почему тихо?»

Она и сама хотела бы задать этот вопрос, но кому?

— Спите, спите! — шепчет она.

Торопливо прошла по длинному коридору и толкнула дверь. В маленькой квадратной дежурке на белоснежном диване, свернувшись калачиком, спала Зоя. На скрип двери она подняла голову и прошептала:

— Немца-фашиста во сне видела... Совсем не страшный: глаза голубые, сам курчавый! Гвоздики мне подарил. Взяла...

Она сладко зевнула, потянулась и, улыбаясь, продолжала:

— Как вы думаете, Ольга Васильевна, неужели они такие, как про них в газетах пишут?

— Они такие! — не спуская глаз с девушки, ответила фельдшерица.

— Такие, говорите? А что же вы тогда остались? Почему не бежали?

— Они такие,— повторила снова фельдшерица,— но я никогда не уйду от больных. Никогда. А вот ты должна была уйти. Тебе восемнадцать лет, и ты красива.

— Тем и лучше,— ответила Зоя.— Красива, значит, пожалеют, не убьют.

Ольга Васильевна удивленно глянула на нее.

— Глупая ты, Зоя. Говоришь — красива, молода, пожалеют, не убьют. Война жалости не знает, красоту не видит. Война — уродство, — закончила Ольга Васильевна, подошла к дивану и развернула большой сверток.

Черной, волнистой смолой рассыпался каракуль. Нафталиновые снежинки серебром отливали на лакированных завитушках меха. Она тряхнула шубу, и оранжевый атлас подкладки огнем сверкнул на фоне черного каракуля. На конце круглого шалевого воротника кокетливо прицепился крошечный букетик искусственных фиалок.

— Какая красивая! — воскликнула Зоя, вскочила с дивана, торопливо влезла в шубу и посмотрела в маленькое квадратное зеркальце, втиснутое в мрамор умывальника. — Какая приятная! Когда я буду такую носить?

— Будешь, ты доживешь, все у нас будет, успеешь.

— Где там успеешь, — возразила девушка. — Пока шубу заработаешь — седина пробьется.

Зоя продолжала вертеться у зеркального квадрата. Она то наглухо закрывала курчавым воротником шею, то откладывала воротник на плечи и, прищурив глаза, изумленно всматривалась в зеркало, будто не узнавала себя.

Потом порывисто скинула шубу, повесила на ширму и с нежностью, какой гладят головки маленьких детей, стала гладить спину каракулевой шубы.

— Небось, дорого вам шуба стала? — спросила Зоя, продолжая гладить каракуль.

— От матери осталась.

— Богатая, значит, у вас мать была, — перебила ее Зоя.

— Учительница музыки, а отец — военный врач, в империалистическую от немцев погиб. Немецкие империалисты мне кровники, понимаешь?..

— Понимаю, — ответила Зоя и глянула в бледное лицо Ольги Васильевны.

3

Ольге Васильевне показалось, что бьют в дно пустой бочки. Бьют долго, чем-то тяжело-звонящим. Когда она открыла глаза, то увидела испуганное лицо больничного дворника.

— Немцы! — прошептал старик и отступил в глубь комнаты.

Гулкие удары эхом отдавались в коридоре больницы. Больные столпились у дверей.

— В постель! Всем в постель! — прикрикнула Ольга Васильевна на них.

В это время в конце длинного коридора увидела немецкого офицера и трех солдат.

Ольга Васильевна молча смотрела на их черные фигуры.

Подойдя к ней вплотную, офицер уставился на нее холодными, бесцветными глазами. Его тонкие губы и синевато-розовый шрам на подбородке отталкивали.

Офицер улыбнулся, и Ольга Васильевна, не понимая этой улыбки, недоуменно глянула назад и увидела Зою.

— Они не такие, как пишут про них в газетах. Видите? — сказала Зоя. Фельдшерица вздрогнула, отвернулась. Зоя улыбалась офицеру. Офицер отстранил Ольгу Васильевну и мимо нее, как мимо пустого места, вошел в палату.

Она рванулась за ним и встала впереди него. Офицер снова улыбнулся, обвел палату неподвижными глазами и резким голосом, на ломаном русском языке приказал:

— Пальной упрат, упрат!..

Ольга Васильевна приказала больным одеться и идти в кухню.

— Там тепло,— шепнула она и стала одевать тяжело больных.

Посвистывая, офицер оглядывался по сторонам. Его взгляд скользил от одного предмета к другому, как бы оценивая их, и остановился на Ольге Васильевне. Размеренно деловитым шагом он подошел к ней и спокойно взял ее за кисть руки...

На левой руке она носила миниатюрные эмалированные часики.

Лейтенант дернул рыжими бровями и сорвал с нее часы. Потом он стал кричать, размахивая стальным стеклом, выталкивая больных в коридор. Ольга Васильевна умоляла офицера дать ей переждать дождь. Она доказывала, что бесчеловечно выбрасывать больных под проливной дождь. Больничный конюх в свою очередь умолял Ольгу Васильевну не сопротивляться, не кричать, а идти в конюшню.

— Там тепло,— убеждал конюх, выводя больных под руку.

Уходя последней, Ольга Васильевна бросила взгляд на Зою и тихо произнесла:

— Видишь, они хуже, чем про них пишут...

Зоя стояла у окна и, тая улыбку, молча смотрела фельдшерице в лицо.

— Уходи, скорее уходи! Они никого не жалеют,— бросила фельдшерица.

4

Прошел месяц, как Ольгу Васильевну с ее больными выбросили на улицу. Страшных тридцать дней. Четверо тяжело больных скончались в больничной конюшне, а остальные девять человек разместили по домам. Она обходила своих больных, стараясь скорее поднять их на ноги.

Однажды вечером, когда на улице бушевала пурга, к Ольге Васильевне прибежала молодая женщина с растрепанными черными волосами, огромными сухими глазами. Она просила фельдшерицу посмотреть ее больную дочь.

— Дышать не может, еле говорит...

— Успокойтесь,— говорила Ольга Васильевна.

— До утра нельзя,— умоляла женщина,— умрет, пойдем сейчас, немец не увидит.

Ольга Васильевна сняла с вешалки шубу, повязала голову пуховой шалью, схватила маленький саквояж и ушла в белую пургу зимней ночи. Ветер скрипел в деревьях, свистел и выл, будто предупреждал о смертельной опасности, нависшей кругом.

Ольга Васильевна ошупью поймала руку

своей спутницы, и две женщины неслышной тенью скользнули мимо запертых окон, поваленных заборов, сожженных домов, боясь выйти на середину улицы. Они прошли длинный ряд домов. В темноте Ольга Васильевна узнала здание райкома партии, рабфак, сельсовет. Какая злая ирония — в здании райкома партии немцы устроили застенок.

— Я напротив живу, — горячим шепотом обдала Ольгу Васильевну спутница. — Здесь каждую ночь кричат. И, как бы в подтверждение ее слов, раздался приглушенный крик. Он то замирал, то снова вырастал, подхваченный порывом ветра.

«Они не такие, как про них в газетах пишут», — вспомнила Ольга Васильевна слова хирургической сестры и, затаив дыхание, слушала дикий, нечеловеческий крик.

Вдруг ослепительный желтый свет мелькнул перед ее глазами. Она метнулась в темноту, но режущий желтый свет тоже метнулся за ней.

— Хальт! — крикнул кто-то у нее под носом. Затем ее схватили и втолкнули в дверь.

Она на мгновенье зажмурилась, но когда открыла глаза, то узнала продолговатую комнату партийного кабинета. Теперь здесь не было плюшевых скатертей, бархатных гардин, сверкающих книжных шкафов, не было прежнего уюта. В комнате стояла удушливая тошнотворная вонь. У раскаленной печи солдаты сушили портянки, чесали друг другу голые спины, курили, переговаривались.

Подталкиваемая в спину, она перешагнула порог. Из глубины комнаты на нее глянуло

знакомое лицо лейтенанта с тонкими губами и сине-розовым шрамом на подбородке. Неподвижное, серое лицо лейтенанта смотрело на нее так же, как и в первую встречу, когда он выбросил ее с больными под проливной дождь.

— Я шла к больному ребенку,— произнесла она и замолчала.

Скрипнула дверь, фельдшерица машинально повернула голову. На пороге стояла Зоя в ярко-зеленом крепдешиновом платье, с высокой прической. Она вошла в комнату и остановилась перед Ольгой Васильевной. Встретившись глазами с фельдшерицей, Зоя вдруг обмякла, смущенно улыбнулась.

— Они такие... еще хуже,— задыхаясь, прошептала Ольга Васильевна, облизнула сухие губы и плюнула Зое в лицо.

Зоя вскрикнула, отскочила назад и захлопнула за собой дверь. Лейтенант спокойно поднялся, оперся на стол, с минуту подумал, потом размеренным шагом подошел к ней и наотмашь ударил ее в лицо. Ольга Васильевна покачнулась, но не упала; выплюнула кровавую пену и, не помня себя, превозмогая боль, размахнулась и тяжело, по-мужски, ударила его в лицо.

Она увидела искаженное злобой лицо лейтенанта, обгаренное кровью. Ее били по голове; она помнила, как стягивали с нее валенки, шубу. Помнила обжигающие удары стального стека и все...

5

В дверь стукнули, Зоя подскочила и открыла дверь. В комнату вошел ее сожитель,

держа под мышкой большой темный сверток. Он бросил сверток на диван, Зоя нагнулась к свертку... Перед ней, переливаясь сверкающей массой упругих колец, рассыпался каракуль. Это была шуба, которую она так страстно желала иметь. Она подняла шубу, прижала к лицу. Ее сожитель сидел на диване и хмуро, недовольно уставился на нее.

Она смутилась под его взглядом, торопливо бросила шубу на кресло, улыбнулась и подошла к нему.

— Устал? — заглядывая ему в глаза, спросила она.

— Устал, — ответил он, расстегнув ворот мундира, и откинулся на спинку дивана.

— Уйдем на другую квартиру, мне здесь страшно, — просила она.

— Другую нельзя, — объяснил он на ломаном русском языке, — здесь зольдати много, партизан не придет.

— А разве опасно? — спросила она его. Но он не ответил. Встал, подошел к столу, налил бокал вина, выпил. Она растерянно смотрела на него, а потом подошла к нему и тихо прошептала на ухо:

— Эту женщину, вот эту, — она показала на шубу, — эту женщину пошли в Германию. Здесь не оставляй, а лучше убей... Только потихоньку убей, в селе ее все любят... — сказав это, она облегченно вздохнула, посмотрела на шубу, небрежно брошенную на спинку кресла. Шуба отливала вороньим крылом, тепло и нарядно сверкая шелковой подкладкой.

Лейтенант все еще стоял у стола и пил.

Ему хотелось заглушить тревогу последних дней: разведка приносила тревожные сведения...

6

Ее вели по длинной улице. Провели мимо райкома партии, мимо детской консультации, мимо школы. Ее, как страшную преступницу, вели под усиленным конвоем. В черной изодранной юбке она босыми, посиневшими ногами ступала по колючему, голубоватому снегу.

Руки ее были связаны сзади тонкой веревкой, седые волосы растрепаны, лицо в фиолетовых кровоподтеках. В этой фигуре ничего не было похожего на прежнюю Ольгу Васильевну.

Но жители села все-таки узнали ее. От дома к дому бежали женщины, дети, старики. Объятые ужасом, смотрели они вслед фашистскому конвою.

Ольгу Васильевну повели на высокий берег реки. Он был покрыт плотным, грязным льдом. На самом видном месте — виселица. Два дня тому назад на этой виселице качался повешенный председатель сельсовета.

На грязной ледяной площадке конвой остановился. Люди видели, как она сама подошла к виселице и, боясь упасть, ухватилась за сруб.

Стон. Ледяная тишина. Вздрагивающее тело на веревке. Толпа замерла.

Вдруг в вышине морозного неба, сверкнув серебром, пронесся самолет.

Толпа вздрогнула. Надеждой сверкнули заплаканные, жаждущие мести глаза...

— Наш!

— Свой! — шептали люди, поднимали руки навстречу пикирующему самолету.

Неподалеку от здания гестапо упала первая бомба, затем вторая...

Стремительный удар наших войск в тыл немцев, по партизанским тропам, создал панику в фашистском гарнизоне. В морозном воздухе стоял визгливый говор, цокот сапог, рокот моторов... По улице бегут фашистские солдаты. А в бывшем кабинете секретаря райкома лейтенант отталкивает от себя и злобно бьет по голове цепляющуюся за его ноги «жену».

— Возьми, не оставляй!

Она уже готова в путь. На ней каракулевая шуба, пуховый платок. Она в отчаянии хватается за его руки, но «муж» отшвыривает ее, тяжело бьет по лицу. Зоя пронзительно вскрикивает и падает на пол.

Содрогается земля, звенит морозный воздух. Долгим эхом гудят артиллерийские залпы в ущелье, и в прозрачной голубизне зимнего утра еле внятно доносит ветер обрывки родного русского «ура».

Дети выбегают на улицу, кричат, молча обнимаются женщины. Старики, оголив бритые головы, бегут на высокий берег.

Бережно, как бы боясь сделать ей больно, теплый труп фельдшерицы вынимают из петли. По древнему осетинскому народному обычаю Ольгу Васильевну закутали в черную мохнатую бурку и понесли по улицам. Ее нес-

ли на плечах седобородые старики и безусые юноши.

Таяли тучки в небе, и навстречу нашей пехоте, за околицу, бежали дети и кричали матерям:

— Наши пришли, не плачьте!

Таяли тучки в небе, и в тишине яркого утра хрустел снег под ногами; искрилось солнце на штыках пехоты, а на здании райкома партии трепетало пробитое пулями, но живое алое знамя победы.

СЕДЬМОЙ СЫН

О крови той, что пролита обильно,
О крови той, что даром не прошла.

Н. Тихонов.



Старая Сафиат родила шестого сына, когда ей было пятьдесят лет. Стыдясь поздней беременности, она, как провинившаяся девочка, смущенно жаловалась старшей снохе:

— Стыд какой — свекровь с люлькой, со снохами вместе. В мои ли годы рожать...

Черноокая невестка, лукаво щуря глаза, ответила:

— Ничего, роди, по очереди кормить будем, на четырех сосках богатырем вырастет.

И родила Сафиат шестого сына в февральскую полночь девятнадцатого года, в тот час, когда муж ее погиб, сражаясь с бандами Шкуро. И назвала она шестого сына — Серго, в честь Орджоникидзе, пламенные слова которого заставили ее поверить в то, что может человек быть счастливым на земле.

Серго рос бледным, худощавым мальчиком. В пионерском отряде он дружил с сыном школьного сторожа, русским мальчиком Ва-

сей. Сторож, на вид хмурый, но добродушный старик, никогда не мешал их детским шалостям, и дети целые дни проводили в школьном дворе. Детская дружба с годами окрепла. Они вместе вступали в комсомол, вместе учились, работали. И только война разлучила друзей. Но не надолго. Уйдя в первые дни войны на фронт, Василий вскоре, после тяжелого ранения, вернулся в родное село и был назначен районным военкомом.

— Отправь меня на фронт,— просил Серго.

Но Василий неизменно отвечал:

— Не могу, Серго. Не подходишь ты по здоровью. Да и в колхозе люди нужны — кто армию кормить будет?

Из бледного худосочного мальчика Серго превратился в высокого узкоплечего юношу. Мать, глядя на него, сокрушенно качала головой и с невыразимой лаской в голосе говорила:

— Последыш ты мой, девушкой бы тебе родиться. Какой из тебя мужчина?..

* * *

Горячий сухой август. В мутном небе раскаленным шаром висит солнце, обжигая землю. Ветер собирает на дорогах пыльные курганчики. Через тихое когда-то село с шумом проносятся грузовики с боеприпасами, санитарные машины, зенитки. Танки сотрясают землю и обдают маленькие узенькие улочки горячим дыханием раскаленного железа. День и ночь нескончаемой вереницей военные части уходят в ущелье.

Старая Сафиат выходила на дорогу, всмат-

ривалась в усталые, запыленные лица бойцов и думала: «Война в России, а войска в горы идут». С недоумением разглядывала она молодых девушек, вооруженных так же, как и мужчины, и растерянно говорила про себя: «Такого никогда не было».

Когда Серго показал матери повестку из военкомата, она побледнела.

— Один ты у меня остался, последний... Он твой друг с детства, скажи ему, чтобы тебя не отправлял...

Простоволосая, пришла она в военкомат и оттолкнула часового, загородившего ей дорогу. Захлебываясь невысказанным горем, она сказала:

— Не смеешь ты меня... Я пять сыновей и двух внуков отдала...

И распахнула дверь кабинета.

Военком поднялся ей навстречу и пододвинул стул. Она долго молча смотрела на него, потом протянула повестку.

— Пожалей мою старость... Ты его друг с детства, не отправляй его. Он больной, слабый. Сам почему не идешь? Последний он у меня,— шептала Сафиат, как в бреду.

Военком побледнел. Он дважды вытер ладонью вспотевший лоб. Не отводя от старухи взгляда, сказал:

— И я иду. Мы все идем воевать. И дети, и старики пойдут. Немец в Ростове.

Он говорил тихо, и его худое лицо судорожно дергалось.

Сафиат, как во сне, медленно шла по длинным улицам села...

Она не провожала сына. Оставшись одна

в большом пустом доме, она разрыдалась, потом забилась в угол и остановившимся бездумным взглядом долго смотрела перед собой.

* * *

Улеглась пыль на дорогах, глухая тишина повисла над опустевшими улицами. Неумолкающий гул канонады стал привычен и сросся с этой тишиной.

Старая Сафиат видела, как большой самолет с черными крестами пролетел совсем низко, почти касаясь верхушек деревьев, и обстрелял безмолвные, мертвые улицы.

По ночам она не спала, сидела в какой-то полудремоте у окна и в минуты краткого затишья слышала, как шуршат сухие поля неубранной кукурузы. Свистел ветер на чердаках, в пустых амбарах, и испуганно, приглушенно шумела река.

Как-то ночью кто-то легко прошел по коридору и привычно потянул дверь. Сафиат вскочила и замерла в ожидании. Дверь открылась. На пороге стоял ее сын, ее Серго в сверкающей от дождя бурке.

— Почему ты не ушла, мама? — спросил он, обнимая дрожащую старуху.

Не отводя взгляда от его лица, Сафиат гладила мокрую слипшуюся шерсть бурки и говорила:

— Никуда я не пойду, дом не брошу. Кто меня, старую, тронет.

Оправившись от первой радости, она заметила на пороге военкома. Оттененное черной буркой, лицо Василия казалось бледнее обычного, на нем ярче проступали веснушки.

Встретившись с ним взглядом, Сафиат молча обняла сына и прижалась к нему всем телом, словно защищая его от опасности.

Потом она колола у сарая дрова, топила печь, кормила гостей. Она подкладывала военному жирные куски баранины и горячий хрустящий чурек, но ни разу не взглянула на него.

«Если бы не он,— думала Сафиат,— сидел бы Серго дома. А теперь... что будет с ним?».

— Мы в партизаны уходим, мама,— с необычной нежностью сказал Серго, прощаясь и обнимая мать.— Если будет трудно, приходи к старой башне.

Погладив узкой ладонью седую голову матери, Серго вышел. Военком быстро пошел за ним...

* *

*

Мутная сырость осеннего рассвета. Огромные серые грузовики, обгоняя друг друга, ворвались в притихшие пустынные улицы. Они наезжали на закрытые ворота, давили заборы, цветники, огороды. Солдаты стреляли из автоматов в окна домов. Все звенело, дрожало, гудело, наполняя село зловещим скрежетом стали.

Сафиат стояла у окна. Серая машина вдруг круто свернула с дороги и врезалась в крашеный забор ее двора. Доски с сухим стонущим треском легли под колеса машины... Сафиат зажмурилась и прижалась к стене.

Ежась от пронизывающего осеннего холода, они тяжело бегали по коридору, стучали дверьми, кричали на непонятном языке. Са-

фиат видела, как изрубили на дрова забор, который красил ее старший сын, как сломали курятник, потому что он мешал машине развернуться во дворе.

Они жарко натопили, потом ели, чавкая, и громко, большими глотками, как лошади, пили вино. Рыжий солдат с автоматом, оскалив желтые зубы, закричал на старуху:

— Рапоталь... хлеб! — и ткнул пальцем в мешок с мукой.

Медленно, широкими шагами, какими ходила всю жизнь, Сафиат прошла в коридор, принесла корыто и, насыпав в него муки из мешка, стала неистово месить тесто. Глядя, как она быстро, ловко и уверенно работает, солдат буркнул: «Гут» и похлопал ее по спине. Она вынула из корыта большие, белые, облепленные тестом руки, и, резко выпрямившись, в упор посмотрела на немца. Он нахмурился и передвинул автомат на живот.

С того дня она каждое утро колола дрова, топила печь, пекла хлеб, доила корову. И каждый раз, прежде чем она становилась к корыту, солдат грубо обыскивал ее. Потом усаживался рядом на табурет, передвигал автомат на живот и скучно скулил на губной гармонике....

Однажды приехал такой же серо-черный человек, как и все ее постояльцы, но он был чище и наряднее и казался выше других. На рукаве у него, как раздавленная лягушка, белела свастика. В этот день солдаты сорвали цепь над очагом, выбили из венского стула сиденье, затащили угол брезентом — они устроили отдельную уборную для офицера.

Надочажная цепь — символ вечности рода, благополучия и счастья семьи. Сафиат прижала к груди тяжелую, покрытую многолетней копотью цепь и бережно унесла к себе на кухню.

В комнате, где поселился офицер, раньше жил ее младший сын Серго. Сафиат очень любила эту комнату — маленькую, теплую, уютную. Окно выходило в сад, который круто спускался к реке, от нее далеко убегали зеленые курганы и горбатые холмы. За ними темной стеной тянулись леса и виден был узкий мрачный вход в ущелье, наводившее страх на пришельца. Офицер подолгу сидел у окна, длинным желтым ногтем ковырял в зубах и сытно икал. Он внимательно разглядывал мрачный осенний пейзаж. Кто знает, о чем он думал? Может, ему не нравились эти загадочно притихшие хмурые горы? Может, он был недоволен тем, что Кавказ, прославленный своим гостеприимством, не встретил его под Моздоком хлебом-солью? Кто знает, о чем думал этот злой человек...

Наступила зима. Река замерзла. Завыли ветры, метя колющий сухой снег.

Однажды во двор привели пленных. Будто обжигаясь, переступали они босыми ногами на колючем хрустком снегу. Ветер жестоко хлестал окровавленных, измученных людей, трепал почерневшие бинты, заметал кровавые следы на снегу. Один пленный показался Сафиат знакомым: широкий вздернутый нос, скуластое лицо, только не бледное, как раньше, а землисто-серое. Это был Василий. Он мел-

ко дрожал, правая рука его с раздробленной кистью безжизненно висела.

Сафиат вздрогнула и до хруста в пальцах впилась в подоконник. Она закрыла глаза, припоминая последние слова сына: «Если будет трудно, приходи к старой башне». Она посмотрела в окно: вдалеке вся в инее, как в белом каракуле, безмолвно высилась над обрывом старинная башня. Тучи цеплялись за нее, замороженные ледяной тишиной, окружали ее леса. Не было тропинки к этой башне, только старые чабаны знали к ней дорогу и берегли эту тайну, как дедовскую честь.

— Где ты, сын мой? Жив ли? — прошептала Сафиат.

Пленных загнали в сарай. Мороз крепчал. Ветер завывал над холмами, набрасывался на голые сады, на пустые дома. Под его порывами сухо трещали ветви замерзших деревьев. Дрожа всем телом, старая Сафиат шептала:

— Чума... чума на землю пришла.

Съжившись в углу тесной кладовой, — все, что ей оставили от ее большого дома, — она слушала, как обледеневшие ветки тревожно царапают стекла окон. А перед ее глазами все стоял военком в окровавленных бинтах и с безжизненно повисшей рукой...

*

* *

Был канун рождества. Пушистая сверкающая елка возвышалась посреди комнаты, рядом был накрыт стол. Сафиат еще с вечера улеглась на своем войлоке в кладовой, но уснуть не могла.

Никогда еще они так не шумели. От режущего крика, от звона посуды, от топота ног — у нее кружилась голова. Она поднялась и посмотрела на них в дверную щель.

Откинувшись на спинку стула, офицер мелкими глотками отхлебывал из стакана пенистое золотистое вино. Вдруг в комнату толкнули пленного военкома. Это был друг ее сына, человек, которого, как ей казалось, она ненавидела. Военкома подвели к столу, и его худое, скуластое лицо передернулось голодной судорогой. Сжав челюсти, он отвернул лицо.

Сафиат тихо заплакала — первый раз с момента прихода немцев. Солдат держал перед лицом военкома тарелку с дымящимся мясом, а офицер, раскачиваясь на стуле, говорил:

— Скажи, где есть партизан, — будет кушаль, будет пить вино, будет жить. Не скажи, где есть партизан, — смерть.

Последнее слово он произнес особенно четко и поднял руку, в которой блеснул маленький револьвер.

Василий молчал. Руки его были связаны за спиной. Откинув голову, стиснув зубы, он отворачивал лицо, стараясь не вдыхать запах пищи. Солдат по знаку офицера ударил его в висок. Василий покачнулся, но устоял. Он продолжал молчать.

Сафиат, прижавшись к дверному косяку, следила за тем, что происходит в комнате. Офицер что-то сказал солдатам, и все, громко крича и смеясь, стали одеваться. Сафиат накинула на голову платок и вышла во двор, опередив немцев. Вдыхая обжигающий воз-

дух декабрьской ночи, она быстро прошла в угол двора и спряталась за столб.

Ветер спадал. Ночь была морозная, молчаливо-настороженная. Тихо потрескивал голубой лед на реке. Сверкающие инеем леса, древняя башня на скалистом обрыве — все было погружено в глубокое молчание.

Пьяно пошатываясь, кутаясь в теплые шарфы, солдаты высыпали во двор. Военкома подталкивали автоматами в спину. Потом один солдат несколько раз плеснул на одежду Василия бензином из бутылки и поднес к нему зажженную спичку.

Стеганный ватник на военкоме вспыхнул синим пламенем. Василий рванулся в сторону, потом с разбегу бросился наземь и стал кататься по снегу. Дикий хохот, свист и улюлюканье разорвали тишину ночи. Сафиат выбежала из своего укрытия, сорвала с головы платок и бросила к ногам офицера. Упав перед ним на колени, она горячо заговорила:

— Не убивай... Сын он мне... Мой сын... Не убивай!

Священный обычай: если женщина открывала перед мужчиной голову и бросала к его ногам платок — это отводило даже кинжал неумолимой кровной мести...

Офицер оттолкнул Сафиат и ударил ее ногой в спину. Василий продолжал бороться за жизнь. Последним усилием воли, он, сверкая глазами, поднялся перед своими убийцами. Бессмертный в своей ненависти, прекрасный в своей смерти.

Солдаты испуганно шарахнулись в сторо-

ны и на мгновение затихли. Офицер медленно поднял руку и трижды выстрелил в упор...

А перед рассветом Сафиат, как всегда, затопила печку, вынесла помой, нарубила дров. За два месяца солдаты привыкли к ее деловитому молчанию, к широкой медленной походке, к спокойным движениям. Некоторые, разбуженные ее возней, открывали глаза, но, увидев знакомую фигуру, возившуюся у печки, поворачивались к стенке и, накрывшись с головой, засыпали.

Налив молока в кофейник, Сафиат тихо открыла дверь и вошла в комнату офицера. Бесшумно поставив на стол кофейник, как делала каждое утро, она прикрутила ночник и остановилась у изголовья офицерской постели. Офицер тяжело, прерывисто дышал. В тусклом свете ночника Сафиат увидела слипшиеся светлые волосы, неприятно белую шею, на которой пульсировали синеватые жилки.

Решительным движением она вытащила из-под платка топор, которым рубила дрова, и, точно рассчитав удар, с силой опустила его...

В саду под ногами часового мерно поскрипывал снег, из-за двери доносилось храпенье солдат. Тяжелыми толчками стучало сердце старухи.

Она снова вышла во двор. Часовой у сарая посмотрел на старуху и с наслаждением подумал о том, что скоро утро, его сменят, и он будет есть хрустящий с ароматной коркой свежеиспеченный хлеб. Он потуже затянул широкий шерстяной шарф на шее, прислонился к стене сарая и задремал, предвкушая близость утра и сладкого сна.

Как могучее дерево, обугленное ударом молнии, чернел на снегу труп военкома.

Сафиат неслышно подошла к часовому и ударила его обухом в затылок. Он мягко сполз по стене и упал перед дверью сарая. Она оттащила труп и открыла дверь.

В сарае зашевелились. Ветер прошумел в голых, обледеневших ветвях сада. Ласково, как говорят с детьми, Сафиат прошептала:

— Только не шумите... тихо... тихо...

Ветер намел в углах сарая сверкающие снежные курганчики. Пленные жались друг к другу и молча смотрели на старуху с растрепанными седыми волосами, с большим топором в руках.

Шагнув в глубь сарая, Сафиат взяла одного из них за руку и сказала тихо:

— Пойдем туда,— показала она на заснеженную башню.— Я проведу вас, я знаю дорогу...

Бережно подняв труп военкома, люди пошли за Сафиат. Она вела их к скале, на которой высилась неприступная старинная башня...

ПЕСНЯ ПОЛОНЯНКИ



Сквозь розовые сумерки Нина разглядела ряд кроватей, тоненькую фигурку сестры в белом халате.

— Пейте! Выпейте...— звучало в ушах Нины, но открыть рта она не могла.

Сестра присела на край кровати и, придерживая рукой голову раненой, поднесла к ее губам горьковато-кислое питье.

— Пейте, пейте!.. Поправляться будете,— настойчиво твердила она.

Стиснув зубы, больная не могла проглотить лекарства. Вспухший язык был тяжел и неподвижен и, как казалось Нине, занимал много места во рту.

Она хотела сказать, что ей больно, что ей ничего не надо, кроме как лежать и не двигаться, но, пересилив боль, она с трудом проглотила жидкость и закрыла глаза. Остро и мучительно ныли раны на теле. И, как бывает во сне, когда хочешь очнуться от кошмаров, Нина старалась припомнить, что было с ней и где она сейчас находится.

С усилием открыв глаза, она увидела на потолке переливающуюся люстру с длинными

подвесками. Сквозь грань хрустали вспыхивали красноватые иглы закатных лучей весеннего солнца.

— Тяжелых много,— говорил седой мужчина в белом халате.

Это был польский врач только вчера освобожденного местечка. А этот комфортабельный госпиталь с шелковыми обоями, с хрустальными люстрами когда-то был усадьбой польского пана Вишневого. С приходом немцев пан был убит, усадьбу себе присвоил немец Прейфер, владелец кондитерской фабрики. Но потом спасавшему свою жизнь Прейферу пришлось бросить все богатство.

Русские танки пришли в местечко совсем не с той стороны, откуда их ждали...

Отступая, немцы расстреливали своих рабынь — русских пленниц.

После ухода немцев польские крестьяне перенесли раненых в усадьбу.

— Тяжелых очень много,— повторил врач, обращаясь к майору Румянцеву, который первым ворвался в местечко, первым увидел трагедию русских невольниц,— на груди убитых и раненных девушек ляписом были выжжены номера.

— Будем лечить,— скупое роняя слова, говорил сухопарый доктор.

Нина равнодушно всматривалась в докторов, в майора, прислушиваясь к их приглушенномуговору.

На разрисованном потолке, переливаясь в хрустальных подвесках люстры, догорали последние вспышки вечерней зари.

Все казалось сном. Ей много раз снилось

на чужбине и жаркое солнце родины, и закатные лучи на реке...

Она приподнялась на локтях: розоватые сумерки весеннего вечера глядели в окна большого особняка.

Нина увидела на форменной фуражке майора пятиконечную красноармейскую звезду... Улыбнулась, не сводя с майора глаз... Затем осторожно опустилась на подушку, закрыла глаза и вспомнила все...

* *

*

Из чайника капал кипяток. Горячая капля воды, кругло-прозрачная, цепляясь за кончик горлышка, пугливо дрожа, падала на грязный приотптаный снег.

В посиневшем морозном воздухе висел сухой цокот кованых сапог и лающий окрик немецких часовых. Капли из чайника падали горячей сверлящей иглой, просачиваясь в снег, обнажая под ним черный кружочек земли. Пар застывал на лету. Кутаясь в шерстяные шарфы, в одеяла, в женские платки, немецкие солдаты торопливо бежали к эшелону.

Офицер-гестаповец в черной шинели деловито прошел по перрону, коротким тупым ножом он постукивал в наглухо закрытые товарные вагоны, нумеруя их.

На станции Ростов немцы проверяли живой груз, отправляемый в Германию. Тысячи девушек: из Ставрополя, Кисловодска, Осетии, Кабарды были согнаны и замурованы в эти ящики смерти.

Семьдесят вагонов мутной длинной шерен-

гой стояли на первом пути, готовые к отправке. Офицер прошел мимо часового, злобно толкнул дымящийся чайник с кипятком, и капли торопливо закапали на землю, будто старались пробиться сквозь снег к родной земле, разжечь ее и остаться на ней...

А за дверью товарного вагона, в битком набитом ящике, висела затхлая темнота.

Сквозь трещину в двери, в узенький просвет, пленницы хотели разглядеть перрон. Ногтями они старались расширить щелку, посмотреть и запомнить родное небо, запомнить цвет и запах родной земли.

Прижавшись друг к другу, девушки молчали. Вагон вздрагивал, доносились свистки с перрона. Нина, вплотную прижавшись к трещине, тоже старалась разглядеть перрон, но перед ее глазами торчал стальной штык винтовки и плоский щетинистый подбородок немецкого часового.

Черный кружочек земли, прожженный горячей каплей воды, вдруг попался Нине на глаза, она вгляделась в него и заплакала, горько причитая.

— ...Ох, девушки, остаться бы на этом маленьком кусочке земли, остаться бы на ней, но только на родной земле.

Она громко плакала, заплакали и другие. А дымящиеся капли с наклоненного горлышка чайника все падали на снег, прожигая его.

— Плачьте, девушки, плачьте!.. Падайте, слезы девичьи,— продолжала она голосить,— растопите, разожгите землю мою, разнесите по земле моей скорбь нашу, муки наши!.. Росой печали и ненависти просочитесь в грудь

земли моей. Железными ростками гнева и мести взойдите на земле моей...

— Плачьте, девушки, плачьте!

— Железными молотками в черные ящики смерти замурована юность наша...

— Пусть росой кровавой падут наши слезы на землю немецкую.

— Пылающими кострами пусть разольются для них реки наши.

— В металл расплавленный пусть превратятся для них горы наши, леса и степи наши...

Вагон вздрогнул, сделал несколько рывков вперед, назад. Раздались свистки, цокот сапог, лающий окрик. Наконец состав тронулся.

— Не плачьте, девушки, не надо,— обратилась Нина к подругам,— нельзя нам плакать, совсем пропадем, если будем плакать.

Она старалась найти особенные, какие-нибудь внушительно нужные слова, но, не умея их найти, попросила вторично:

— Не плачьте... Не надо. Жалко мне и вас и себя. Нас освободят, вот увидите, освободят...

Дрожал вагон. Казалось, он кружит на одном месте. Не стало ни времени, ни пространства, ни тьмы, ни света. Был только заволоченный серой мутью ящик-вагон, да вповалку лежащие пленницы.

Страшная печать рабства, тоскливая обреченность лежали на серых, измученных лицах невольниц. Когда-то это были люди со своими радостями и мечтами.

В мутной тьме вагона, под мерный рокот колес, полузабывшись, Нина гредила...

Летом 1941 г. перед окончанием десятилетки она написала в анкете:

«Хочу закончить Московский архитектурный институт. Строить красивые дома; от ущелья к ущелью протянуть висячие ажурные мосты; в горах над алмазными рудниками построить сверкающие санатории, просторные школы...»

— Романтик ты, Нина, но инженер-романтик — это хорошо, — ласково улыбаясь, сказал ей тогда классный руководитель, пожелав стать архитектором.

Вагон толкнуло вперед, назад; свистки, остановка. Сладкое видение исчезло. Не было ни учителя, ни школы, и она вспомнила осень 1941 г.

Оборонительные сооружения под Моздоком, куда добровольно пришли сотни девушек, чтобы киркой и лопатой помочь той борьбе, которую вела родина в небывалом напряжении сил.

Потом... Немцы... Гестапо... И вот она, комсомолка Нина, замурованная в товарном вагоне, едет навстречу рабству, в лучшем случае — смерти.

* *

*

В городе Кракове, на границе, пленниц выгрузили на перрон.

Чужой холодный город принял невольниц на мокрые мостовые. Был конец февраля. Черные тучи низко висели над городом, сочась ленивым мелким дождем.

Разжиженный снег чавкал под ногами. Ка-

пало с крыш. На улицах было пустынно и зло-веще тихо.

Серо, тускло, сиротливо глядел город разрушенными крышами и пробитыми насквозь стенами. Нина шла в средних шеренгах. После мутной одури вагона она жадно вдыхала мокрый запах талого снега. У нее кружилась голова, дрожали ноги.

У огромного кирпичного здания шеренгу остановили и отдельными партиями, человек по десять, пленниц загоняли в узкую дверь подвального помещения.

Когда очередь войти в эту дверь дошла до Нины, ее вдруг охватил безумный животный страх, она закричала и отскочила в сторону. Конвойный ударил ее прикладом по спине... Очнулась она от прикосновения чего-то холодного, металлического то к вискам, то к шее.

В подвальном здании, в полумраке, у стола, заваленного папками, бумагами, склянками, сидели три гестаповца-офицера. На рукавах их черных форменных костюмов белела свастика. Поодаль от стола с большими ножницами — пятеро солдат.

Девушки с улицы прямо попадали к ним в руки. Стальными большими ножницами их стригли, как стригут баранов.

Золотистые, как лучи, косы казачек; иссиня-черные, как августовские ночи на юге, — косы осетинок; матово-пепельные, как весенние сумерки, — косы русских девушек; темно-коричневые, как земля Украины, — косы украинок.

Мертвыми разноцветными жгутами, как убитая молодость валились на грязный ка-

менный пол отрезанные девичьи косы. Увидев такую «парикмахерскую», Нина машинально прижала к горлу свои тугие косы, но две пары солдатских рук сдавили ей голову. Ножницы с холодным визгом прошли по голове, и Нина почувствовала, как тяжело скользнули по спине ее косы, а затем увидела, как солдат швырнул их в большую кучу волос.

Потом ее толкнули к столу, за которым сидели офицеры.

Один из них, худой, высокий, в коричневом резиновом халате и в резиновых перчатках, брезгливо повертел Нину за подбородок, заглянул ей в рот. Другой расстегнул ей ворот платья и торопливо приложил большую круглую печать. Нина вскрикнула и увидела на левой груди, чуть выше соска, три черные цифры: 213... Третий записал ее в журнал...

Ее больше не существовало. Не было у нее ни имени, ни фамилии, ни национальности, ни пола. Она была раб № 213, клейменный ляписом.

* *

*

Под Краковом был расположен один из немецких концлагерей, куда загнали и Нину с ее подругами. Пригнали их к вечеру. Ледяной коркой покрылась оттаявшая за день земля.

Холмы, озера, леса, перерезанные железными дорогами, узкоколейками. Проволочные заграждения в три ряда, сырая глина, нарезанная в кирпичи; огромные бараки — «общежития». А на восток от лагеря — без конца и края ровная синеватая даль...

Комендант лагерей торопливо принял новую партию. Вечерело. Оборванную толпу пленниц, посиневших от холода, загнали в лагерь. Нина растерянно остановилась и осмотрелась.

Над лагерем плыли оборванные клочья серого дыма. Скучный костер, разжигаемый невольницами, не мог согреть коченеющий лагерь, расположенный почти на открытом воздухе.

Черный вечер. Колючий холод, ржавая, в три ряда перекрученная проволока, визг снега под ногами часовых...

— Ложись, стоять ночью нельзя... Пристрелят,— раздался хриплый голос у ног Нины. Она беспомощно огляделась, не видя ни одного свободного места. Нагнулась и увидела кутающуюся в лохмотья женщину.

Женщина потянула Нину за подол и повторила:

— Садись, убьют...

Нина опустилась у ног говорившей и инстинктивно прижалась к ней, будто искала у нее защиты. Черный вечер обволакивал лагерь смертной тоской. Визжал снег; ветер со звоном нырял под ржавую проволоку. Над лагерем висел устойчивый запах смерти и гниения. Слабый, еле уловимый стон носился над черной неподвижной толпой.

Здесь страдали люди в муках голода и холода, стонали от бессильного гнева. Здесь ночами раздавался бредовый страшный хохот матерей, сходявших с ума, когда умирали их дети. Здесь ни в ком не вызывали сострадания человеческие муки. Здесь всем было

одинаково мучительно. И немецкие палачи, глядя на все это; как на арене Неронова цирка, пьянели от запаха человеческой крови, изощрялись в пытках.

Здесь в цокоте кованых сапог, в зловещем звоне проволоки, в колючих порывах мокрого ветра, в безумном молчании огромной толпы — во всем ощущалось дыхание смерти. Близость ее чувствовал на себе каждый, особенно ночью.

Здесь по ночам самые сильные люди утрачивали надежду. Но в этом напряженном молчании все-таки был страшный затаенный крик...

— Расскажи, откуда пригнали... Все расскажи, что знаешь...

Нина молчала. В каких мрачных картинах ни рисовалось ей немецкое рабство, но всего этого она представить не могла.

Нина хотела сказать, что их пригнали с Кавказа, но горький комок подкатил к горлу, она прижалась к этой незнакомой женщине и горько заплакала.

— Плакать не долго будешь... Здесь плакать нельзя... промолвила женщина, притянув ее к себе, ласково прижав ее голову.— Здесь плакать нельзя. Здесь нужно терпеть, терпеть и ждать,— промолвила женщина.

— Вот я,— продолжала она,— из города Николаева... Агроном, Галей меня зовут... тоже плакала. Потом поняла: чтобы отомстить, надо жить... Жить... Несмотря ни на что... Жить хочу... Хочу видеть, как они побегут...

Укрывшись лохмотьями, девушки горячо дышали друг на друга.

— Ты Расскажи, как там на нашей земле?
Нина, ободренная словами новой подруги, сказала:

— Наши придут, я знаю, обязательно придут... Пока нас довели, партизаны несколько раз нападали на наш эшелон.

— Не найдут немцы покоя на нашей земле. А потому не плачь. Жить надо, нужно жить, даже только для того, чтобы увидеть их смерть,— промолвила Галя.

Галя из Николаева и Нина из Моздока, связанные одной судьбой, жались друг к другу, стараясь согреться. Тяжелый от весенней сырости ветер насккивал на проволоку, и ржавый звон ее, мешаясь с бредовым стоном, прибавал лагерь к земле.

— Нас освободят,— шептала Нина.— Где нет женщин, там нет жизни,— сказал Горький.

* *

*

Огромная бетонная дыра. Сырой затхлый воздух. Туманом окутанные поля. Тягучая липкая грязь. Дорожки, скрытые под кронами старых сосен и берез.

Здесь строилась подземная Германия — базисные склады оружия и снаряжения. Много таких складов настроила Германия руками своих рабов и на Украине, и в Польше, и в Румынии.

За два года место работы у Нины менялось трижды, но с Галей они не расставались. Учет рабов на строительстве был строжайший. Ни один из этих клейменных невольников не должен был избежать смерти. Заканчива-

ли одно строительство, их переводили на другое.

— Помни: слабых и больных уничтожают. Нас поведут на медицинское освидетельствование,— говорила Галя.— Жить будет только тот, кто сможет работать... Надо жить, а не то вон видишь...— и Галя показала рукой за проволоку. Берег небольшой лесной реки. Территория нового строительства с электропроводами высокого напряжения, а вокруг лагеря — стая голодных немецких овчарок и волкодавов.

— Видишь? Это специальные собаки, которые охотятся за людьми.

— Больных выбрасывают собакам... Немцы жалеют патроны.

— Надо жить, чтобы увидеть смерть их... дожждаться их смертного часа,— прошептала Галя, и, взяв лопаты, они стали в строй.

Страшней колючей проволоки, проводов высокого напряжения, страшнее шомполов, страшнее картофельной шелухи были эти голодные псы: на глазах у живых людей собаки рвали людей.

На заре изнуренная толпа пленниц тянулась на работу. Солдаты палками и автоматами подгоняли их.

Багровым кумачом полыхали весенние зори. Дули с востока теплые ветры. Молочным густым туманом просачивалась весна в леса, на большие дороги, на лесные тропинки...

Здесь, в глубине леса, была подземная Германия, поражающая размахами своего строительства. Из глубоких шахт-катакомб выбрасывались сотни тонн земли, камня и гли-

ны. Утоптанная железным шагом войны, плотно прибитая земля с трудом поддавалась ослабевшим рукам пленников.

В лесу, у корня древней сосны, большая партия пленниц, в которой были Галя и Нина, пробивали с утра глубокую штольню: чем глубже в землю, тем теплее земля. Перерытая, перевороченная влажная глина бугорками и холмами высилась у берега маленькой лесной речки. День был солнечный, но в лесу было сумеречно-сыро.

Сегодня в барак ночевать не пойдут. С лихорадочной быстротой торопили строительство. Злее, придирчивее становились часовые. Пришел вечер. Сизые сумерки заволокли лес. Белый туман поднялся над рекой. Пленницы расположились на влажных буграх свежей глины и в глубоких ямах. Потом пробили три раза в барабан — это значило: кончился день. И сейчас нельзя ни ходить, ни стоять, ни шуметь, ни разговаривать. Потом вокруг лагеря забегали собаки, спущенные с цепей...

Стало тихо. Темно. Потом край леса посветлел, стал розоветь. Это всходила большая, красная, круглая луна.

Как река в половодье, затопил лагерь лунный свет.

Как весенние ручьи, лунные тени просочились сквозь деревья и пали на плотную толпу невольниц.

— Смотрите, девушки, луна...

— Да, эта луна освещает и мою Украину, и твой Кавказ,— тоскливо, тихо прошептала Галя.— Она освещает твои горы, Нина, и мои вербы...

Плотная толпа девушек зашевелилась, партия замерла, глядя на луну. И вдруг неожиданно Галя запела, вкладывая в слова Шевченко рабью тоску по воле...

...Ты ли станешь, Украина,
Вдовой бесталанной!..

Низким, простуженным голосом пленница тянула:

Прилетать к тебе я стану
Полночью туманной!..

Девушки испуганно глянули на подругу, плотнее сомкнулись вокруг нее и слабыми задушевыми голосами, согласно, печально-красиво вытянули:

Для печально-тихой речи
На совет с тобою
Буду падать в полуночи
Свежею росую...

Нина не пела украинских песен. Пораженная печальной песней, она машинально мяла в руках кусок влажной глины, не сводя глаз с Галиного лица. За два года совместных мучений, она никогда не видела у своих подруг таких лиц. Она никогда не замечала, как стары были эти восемнадцатилетние девушки.

Холм свежей глины, толпа девушек. Лунные тени. Оголенные черные деревья, ртутный блеск ночной реки...

— Тише пойте. Тише... Но пойте обязательно,— прошептала Нина, будто зачарованная.

Закатав рукава, она торопливо месила глину. Куски глины, разжиженные водой, по-

слушно ложились под ее руками. Весенняя ночь коротка. Она торопилась.

— Помоги, лепи,— толкнула она подругу,— я умею, еще девочкой умела лепить... Вроде ящика лепи...

Несколько пар худых торопливых рук мяли глину.

Любовно, влажными ладонями они проводили по граненым бокам глиняного пьедестала. Бесформенные куски глины под руками Нины вдруг оживали, принимая какие-то формы, живые очертания.

Девушки, затаив дыхание, следили за подругой. Ложились на бок, на живот, разглядывая со всех сторон маленькое глиняное сооружение. И Галя, пододвинувшись к подруге, тиская в руках глину, бережно, тихим голосом выговаривала слова, ясно округляя их к концу, вставляя лишние гласные для певучести.

Потолкуем, потоскуем,
Пока день настанет,
Пока твои малолетки
На врага не встанут...

Приглушенна, торжественно-тиха была
песня в лунной тишине ночи.

Ах, родная Украина...
Не видать ее просторам
Ни конца, ни края!
Не убьет ее, не сломит
Никакая сила...

Призывом к мести, к жизни звучала песня
полонянки.

Рассветало. Дули ветры с востока. Багровым кумачом полыхали зори. В призрачной

тишине утра неотступно висел над лесом, над дальними дорогами грохочущий гул близкого сражения...

Лаяли собаки, бегали часовые вокруг лагеря, пронзительно выли в воздухе снаряды. Автоматными очередями расстреливали немцы пленных. Немцы уходили. Пришла и за ними смерть. Не ночью, не в потемках, не воровски, не пугливо, а пришла на заре, на рассвете, смелой поступью. Казалось, в грохоте танков звучала еще ночная песня полонянки...

Не убьет ее, не сломит
Никакая сила...

* *

*

Первые танкисты, ворвавшиеся в местечко, увидели перевороченный лагерь. На свежих глиняных буграх сотни расстрелянных, растерзанных собаками трупов.

На желтой глине коричневыми пятнами темнели лужи крови. Раненые, убитые лежали вповалку. Танкисты майора Румянцева, первые ворвавшись в местечко, вместе с польскими крестьянами подбирали раненых, сдавая их в усадьбу.

В одном из углублений на глиняном, влажном еще пьедестале высилось изображение женщины. Майор Румянцев со своими танкистами долго рассматривали странную статую. Согбенная женщина, с киркой в руках, с кирпичом на шее. С ужасающей точностью было воплощено в куске сырой глины страшное слово — рабство.

Вокруг глиняного пьедестала то тут, то там краснела кровь.

Танкисты молча сняли шапки. Потом, осторожно подняв все сооружение, вынесли его на открытое место, на солнце.

— Сдать в усадьбу, поручить, чтобы берегли до нашего возвращения,— приказал Румянцев своим танкистам, а сам направился в новооборудованный госпиталь для пленниц.

Заходило солнце. Лучи его переливались на танках, уходящих на запад, просачивались сквозь окна панского особняка, освещая кровать Нины, согревая ее лучами освобожденного солнца.

НАСТОЯЩАЯ ДОЛЖНОСТЬ



Звеньевой» — так его называли все: и председатель колхоза, и бригадир, и пионеры, которые помогали его звену. Казались, он и сам гордился этим именем. Высокий, широкоплечий, он в свои тридцать лет напоминал кряжистый, рослый дуб.

И вот этого здорового человека не пустили на фронт, а оставили с женщинами копать картошку. Все его товарищи еще в июле ушли в действующую армию, а он остался и считал себя кровно обиженным.

Осенью сорок первого года в колхозе осталось мало настоящих работников. Москва готовилась к великой битве, и со всех сторон бескрайней Родины день и ночь тянулись эшелоны к столице. А Николай остался с женщинами, стариками и детьми. По вечерам, когда стан затихал, его просили что-нибудь рассказать, но он молча кутался в бурку и, упершись длинными ногами в стену шалаша, засыпал.

— Обидели его, на фронт не взяли,— объясняла детям Замирят, лучшая колхозница из звена Николая.

Иногда ночью Николай уходил на край кукурузного поля, садился на землю и гладил лохматую морду старой-престарой лошади.

— Списали нас обоих, друг Серко,— говорил он горестно,— тебя председатель от работы отстранил, мне войну не доверили.

Серко тепло и шумно дышал ему в лицо, касаясь влажной обвислой губой его небритой щеки. А днем, насупив брови и ни с кем не разговаривая, Николай выполнял по пять норм, и колхозницы его звена не успевали убирать за ним картошку. Он работал легко и быстро, далеко отшвыривая перерезанные лопатой картофелины. При этом он говорил:

— Не порть мне красоту урожая.

Пришел председатель колхоза, увидел огромное вскопанное поле и одобрительно сказал:

— Вот видишь, потому я тебя и в военкомате отстоял... упросил военкома. За пятерых успеваешь. Мне бы еще трех-четырех таких, как ты, и я не чувствовал бы, что нет в колхозе мужских рук.

Только сказав это, председатель понял, что совершил непоправимую ошибку. Николай отбросил лопату, остановился перед председателем и не своим голосом закричал:

— Так по-твоему я только на то и гожусь, чтобы картошку копать? В военкомате отстоял... А кто тебе такой закон установил, чтобы меня моего мужского права лишать? Это тебе не старый режим, чтоб самовольничать!

— Да ты что, очумел, что ли? Не понимаешь разве — армию кормить надо. Не всем

же воевать,— волнуясь говорил председатель, торопливо шагая за звеньевым, который уже бежал к шалашу.

— Не уговоришь, и не думай. Здесь не зачислят, я в город пойду. Там примут. А ты сам здесь воюй с бабами,— со злостью говорил звеньевой, на ходу застегивая ватную куртку.

Ни разу не оглянувшись, он пересек осеннее влажное поле и подошел к реке. Мост был далеко, и, чтобы не терять времени, Николай снял чувяки и перешел реку вброд.

...Высокий, большой, он стоял перед военкомом и резко требовал:

— Запиши, я тебе говорю. Чем я хуже других? Настоящие мужчины на фронте, а я с бабами лопатой воюю. Запиши. Все равно, я здесь больше ни одного дня не останусь. Лучше по закону зачисли, а не то сам уйду.

Военком, бледный мужчина с отеками под глазами, не без зависти смотрел на его крепкую, сильную фигуру. Наконец, решившись, он протянул ему руку и сказал:

— Ладно, зачислю. Солдат из тебя будет крепкий. Правда, председатель твой ругаться будет, да уж бог с ним... Воюй.

* *

Ранней весной сорок шестого года Николай вернулся в родной колхоз. Ордена Красной Звезды, Славы, третьей и второй степени, и медали красовались на его гимнастерке. Он сразу же пришел к председателю.

— На, возьми свою смерть,— сказал председатель протягивая ему два распечатанных конверта.

— Что это? — удивился Николай.

— Дважды извещение приходило, что ты погиб. А я не поверил. Как же так, думаю, Николай — и вдруг погиб? Не может, думаю, такого быть. Ну вот, по-моему и вышло. Теперь принимай звено, земля по настоящим рукам тоскует. Завтра же выходи на работу. Замират хоть и женщина, а работала по-мужски, никто в ней силы такой не подозревал. Бригада у нее крепкая, ждет она тебя, звеньевого.

— Меня ждать нечего, я не жених, — обиделся Николай.

— А разве только женихов ждут? Вот и я тебя ждал, потому и не разрешил твоей жене корову на поминки резать. Думал: если ты уж действительно погиб и есть царство мертвых, так не может быть, чтоб ты себе пищу сам, без помощи жены, не раздобыл, — пошутил председатель.

— Спасибо, — глухо сказал Николай, понимаясь. — Спасибо за то, что ждал, за то, что корову сберег... А в подчинение к Замират, к девчонке, я не пойду. Не заслужила она этого. Бригадир! — насмешливо воскликнул он и опустил длинные руки по швам, словно стоял перед командиром. — Не таким бригадирам я подчинялся.

— Значит, за то, что у нее орденов нет, ее с бригады снимать, так по-твоему? — спросил председатель.

— Как хочешь, это дело не мое, — несколько спокойнее ответил Николай. — Ты хозяин, ты должен смотреть правильно, так, чтобы человека на его настоящее место поставить.

Чтобы должность выше человека была и человек к ней тянулся.

— Чтобы человек к должности тянулся? — засмеялся председатель. — А я наоборот думаю: пусть должность, самая маленькая должность тянется к человеку, а человек ее делает большой.

— Нет, ты не так меня понял, — перебил Николай, снова присаживаясь к столу. — Мне всегда не везло... Вот я тебе расскажу: когда меня из госпиталя выписали, я, конечно, в свою часть не попал. Направили меня в жаркое место. Передний край от командного пункта километрах в трех находился. Немец этот участок днем и ночью долбил, головы поднять не давал, а бойцы целые сутки без хлеба, без воды одну за другой вражеские атаки отбивают. Хотя и не отступаем, но и вперед ни на вершок не подвигаемся. Помню, бригадный говорил: «Хоть клещами рвать будет, а не вырвать ему из-под нас этот клочок земли». Ну, готовился и я со своей ротой в атаку... Это я тебе рассказываю к тому, как человека на настоящее место ставить нужно... Так вот, как раз тогда недалеко от командного пункта врезался в землю подбитый немецкий самолет. Торчит перед глазами, мешает обозрению местности. Взялся я да откопал эту рухлядь, а потом оттащил в сторону. Вот этот пустяк всю мою военную судьбу и переменял. Только я закончил работу, как позвали меня к бригадному. Оглядел он меня с ног до головы и говорит: «Такая силища в тебе, солдат, зря пропадает». Набрался я смелости и говорю: «Нет, говорю, не зря, товарищ генерал. Я в атаке

двумя штыками орудую, за троих воевать могу». А он улыбнулся и говорит: «В атаке каждый солдат герой. А тебе другое задание, важное, большое. От того, говорит, как ты его выполнишь, ход боя зависит». Так и сказал: «от тебя зависит». Тут я вытянулся и говорю: «Служу Советскому Союзу!». Тогда он и говорит: «Люди два дня без горячей пищи, девять атак отбили. Мы третью кухню посылаем — не доходит. Ты, говорит, человек кавказский, по кручам с детства ползать привык, а местность здесь на вашу похожа... Донесешь обед — бой выиграем, не донесешь — солдаты опять голодными останутся, а голодному воевать трудно». Хотел я было сказать: «Правильно, товарищ генерал, пустой мешок — что голодный человек — стоять не приспособлен», но он мне говорить не дал. «Иди, говорит, на кухню, выполняй».

Обвязали меня на кухне с плеч до пяток термосами и хлебом, только грудь и живот остались свободны, чтоб мог я ползти. Повесили автомат на шею, накинули на меня белый халат и пополз я по снегу. Животу холодно, а в боках и на спине такая жара, что я на уборке никогда так не потел. Пули кругом посвистывают, как зяблики в зимнюю ночь на снегу. Когда до переднего края дополз, от меня пар валил, как от солдатского котла. Поднялся я на колени — в полный рост нельзя было — снимаю с себя термоса, крышки откручиваю. Каша салом была заправлена. Украинцы первые запах сала учуяли. Облепили меня ребята, почет мне, как герою ка-

кому-нибудь, а ротный обнял меня и говорит: «Молодец, старшина, настоящий герой!»

Николай помолчал, посмотрел на председателя и глубоко вздохнул.

— С того дня и началось мое понижение в жизни,—продолжал он.— На настоящую должность я больше не попал. Стал не солдатом, а «кашеносом». Где машина не пройдет, там я проберусь, кухню подобью — я обед доставлю, лошадь убью, а я живой, будто от смерти заговоренный. Одно утешение было, что обратно пустой не возвращался: двух, а то и трех раненых каждый раз принесу на себе. Хоть этим свой солдатский долг выполнял. А в приказе, когда Красную Звезду получал, почти так и написано было, что за должность кашеноса награжден.

Председатель от души расхохотался.

— Тебе смешно,—с горечью произнес Николай,— а мне обидно. Хороший человек был мой бригадный, а на настоящую должность меня не сумел поставить... Так же вот, как и ты. В начале войны меня с бабами оставил, а теперь в звеньевые посылаешь, к девочке в подчинение. Что я настоящей должности не заслужил, что ли?.. Нет, ни за что! Лучше сторожем на бахчу пойду.

Председатель шумно отодвинул стул, вышел из-за стола и положил обе руки Николаю на плечи.

— Молодец! Я на тебя надеялся, и ты не обманул меня. Знал я, что не посрамишь ты чести осетина. Правильно сказал тебе ротный: герой ты, Николай. А обижаешься напрасно: ты везде был на своем месте. Настоящая долж-

ность та, на которой настоящие люди работают. Знаешь, есть такая русская пословица: «Не место красит человека, а человек место»... Принимай, старшина, звено и командуй. Будет это твоя настоящая должность. От твоей работы судьба нашего урожая будет зависеть,— и председатель протянул Николаю руку.

Николай молчал. Потом вдруг порывисто, обеими руками крепко пожал руку председателю и, уходя, весело сказал:

— Завтра выйду на работу.

НЕИСТОВЫЙ



и ничем не выделялся среди других учеников. Серые тиковые шаровары были закатаны выше колен, косоворотка в заплатах перетянута ремешком из сыромятной кожи. На узком девичьем лице светились большие озорные глаза; острый нос был усыпан теплыми веснушками.

Учился он посредственно, часто шалил. Однажды на уроке связал тонкой ниткой несколько мух и пустил их по классу.

— Володькина эскадрилья! — закричали ребята.

Я выгнала его из класса. Вместо того, чтобы выйти в дверь, он выскочил в окно.

— Пусть мать придет ко мне! — крикнула я ему вслед.

Вечером ко мне на квартиру пришла стройная худощавая женщина средних лет.

— Я мать Владимира, — смущенно сказала она, усаживаясь на диван. — Он у меня один. Я вдова, работаю на ферме. Зимой он один управляет по хозяйству, а все лето — в колхозе.

Она помолчала, потом подняла на меня усталые, но открытые глаза и сказала:

— Прошу вас: вы его больше не выгоняйте. «Если, говорит, учительница еще хоть раз выгонит меня с урока, совсем учиться не буду»... Он ласку любит. Попробуйте и вы с ним лаской.

Мне пришлось по душе мудрая простота этой женщины.

* * *

Стояли последние дни погожей осени. Ноябрь пылал золотом опадающей листвы. Над деревьями и над крышами домов плыла серебристая паутина. Мальчики на школьном дворе гнались за ней и сбивали длинными палочками.

Вечерело. Приглушенно шумела река. Я думала о том, почему Владимир не пришел сегодня в школу. «Если бы не мать, я бы совсем не учился,— сказал он мне накануне, когда я пожурела его за плохое знание урока.— Я только для нее учусь, а то она у меня все плачет».

В окно постучали.

— Вас вызывает начальник милиции,— коротко сказал милиционер.

— Зачем?

Не ответив, он вскочил на коня и уехал.

Начальник отделения, пожилой хмурый человек, встретил меня укоризненным взглядом и предложил пройти за ним.

В полутемной комнатке, на полу, опустив голову, сидел Владимир. Увидев нас, он вскочил, сделал два шага мне навстречу, но вдруг,

словно передумав, развязно сунул руки в карманы и сел на прежнее место.

— С утра сидит, а прощения не просит,— сказал начальник.— Послали за матерью — ее дома не оказалось. Он сам просил вызвать вас: учительница, говорит, все объяснит.

— А что он сделал?

— Да вроде диверсии, знаете ли... Выбил у нас стекла.

Я была поражена. Владимир был озорным, шаловливым мальчиком, но хулиганом — никогда.

— Если можно, оставьте нас вдвоем,— попросила я начальника.

В комнате стульев не было. Я облокотилась на подоконник. Мы оба молчали. Потом Владимир поднял голову, посмотрел на меня и... расплакался.

— Только маме не говорите. Я не хочу, чтоб она плакала... Ведь я не нарочно. Охотники подарили мне порох и капсули. Я хотел только попробовать. Положил камень, а другим ударил. У них под окном камни гладкие, удобные... Я забыл, что это милиция... А теперь,— сквозь слезы проговорил он,— начальник грозит сослать за хулиганство...

Он плакал горько, безутешно, как плачут дети, когда думают, что попали в безвыходное положение.

Мне удалось убедить начальника ничего не сообщать матери. Через час мы вышли из милиции.

* * *

Прошло несколько лет.

Из вихрастого босоногого мальчугана Вла-

димир превратился в стройного худоцавого юношу. Глаза его по-прежнему весело, озорно светились, веснушки на носу побледнели. Он работал в колхозе бригадиром молодежной бригады.

Стан бригады считался лучшим в колхозе. Длинное кирпичное здание стояло в пустом фруктовом саду. Перекатываясь мягкими волнами, с высоких холмов в ложбины сбегали колхозные поля. Комсомольцы с гордостью показывали мне стан: книги на полочках, пианино, ковер на полу, бюст Ленина, отлитый из бронзы, портрет Кирова в охотничьем костюме...

На стене висела грифельная доска — здесь отмечались успехи учеников-комсомольцев. Владимир молча старался обратить мое внимание на доску: мол, не везде я посредственный. Комсорг похлопал его по плечу и сказал:

— Лучшую бригаду на соревнование вызвал. Я уверен, что наш участок выйдет вперед.

Допоздна тянулась беседа. Юность любопытна, ей все хочется знать: как делали отцы революцию, кто в Америке не любит негров, есть ли на Марсе жизнь, как Николай Островский написал книгу, почему Московская сельскохозяйственная Академия называется Тимирязевской, на каком языке будут разговаривать люди, когда во всем мире будет коммунизм?..

* *

*

В серый декабрьский день сорок первого года мать Владимира получила извещение

о том, что он погиб, защищая Москву. Я пришла к ней выразить свое сочувствие.

Святая любовь матери, ты тоже была на вооружении нашей армии!

— За свое счастье погиб,— сказала мне женщина.— Рос сиротой, советская власть его учила... Кому ж ее было защищать, как не ему?!

Она дала мне последнее письмо сына. Я узнала крупные неровные буквы. Письмо было сухое, без ласковых слов. Он скупно сообщал о том, что здоров, воюет. Предупреждал, чтобы мать не плакала, если долго не будет писем. Он уверял, что не умрет, он должен дойти до Берлина...

Женщина протянула мне фотографию, бережно завернутую в белый шелк. На меня смотрело знакомое узкое лицо. Как он возмужал! Но озорство по-прежнему светилось в его глазах. На обороте фотографии я прочла: «Моей маме, самой лучшей маме. От старшего сержанта, минера энской гвардейской бригады...»

Пожалуй, это были самые ласковые слова, сказанные им когда-либо матери. Станный характер: учился только для того, чтобы не огорчать мать, в бригаде был первым, чтобы матери приятно было, и под арестом у начальника милиции, зажав в кулак самолюбие и мальчишескую гордость, униженно плакал, упрашивая, чтобы не сообщали матери о его аресте. Как будто не было у него своей жизни, своих интересов. А с фронта пишет, что ни за что не умрет, что он должен дойти до Берлина...

Весной сорок четвертого года я очутилась на станции Беслан. Крыши зданий были сорваны, окна выбиты, повсюду торчали бездымные закопченные трубы и скрюченные рельсы.

Среди больших народов, насмерть дравшихся с врагом, не последней была и ты, любимая маленькая родина моя! Названия твоих деревень значились на больших стратегических картах. Твой Моздок знали и друзья и враги. Друзья с волнением следили за боями в районе города...

Я пропускала поезд за поездом, завидуя мужчинам, так ловко устраивающимся на крышах. Подошел санитарный: белые марлевые занавески на окнах, цветы, белоснежные халаты сестер.

— Какая станция, мать? — спросил меня юноша лет семнадцати с удивленными глазами цвета апрельского неба. Обе руки его были в гипсе. Он и сам был чем-то похож на этот яркий весенний день, то ли голубизной своих глаз, то ли волосами цвета подсолнуха. Я не успела ему ответить. Подошел высокий мужчина в белом халате.

— Я врач, — отрекомендовался он. — В нашем поезде едет ваш ученик. Он увидел вас в окно и просил позвать. Вам в какую сторону ехать?

Я сказала.

— Правда, в санитарном поезде не полагается посторонним. Но знаете, не могу ему отказать, он тяжелый.

Врач взял мой чемодан, и мы вошли в ва-

гон. Потом он подал мне халат и повел в крайнее купе.

— Получай свою учительницу,— весело сказал мой спутник.

Владимир... Неужели это Владимир?

Голова густо забинтована, правая рука в гипсе, глаза кажутся огромными на исхудавшем лице. Он молча посмотрел на меня и протянул левую руку. Потом прошептал чуть слышно:

— Увидел Беслан — домой захотелось... маму повидать. Ведь она меня уже похоронила... Опять, наверное, плакала.

Он побледнел и закрыл глаза.

— Будешь нервничать — уведу учительницу,— строго сказал врач.

— Не буду, оставьте,— сказал Владимир, не открывая глаз.

Ночью, под мерный перестук колес он долго рассказывал мне о своем единоборстве с немецким сапером.

— У него лопатка, и у меня лопатка. Оба мы ползли к дереву, у которого стоял пулемет. Кто раньше до пулемета доберется, тот живым останется...

Он помолчал, видимо, подыскивал слова, чтобы ярче передать свои мысли, потом улыбнулся и сказал:

— Вот рассказывать не умею. Вы всегда меня ругали за короткие письменные работы... Ну, до пулемета, все-таки, я раньше добрался... А потом их пришло очень много, а я был один. Ну, я не жалел их, и они меня не жалели...

Он снова замолчал и закрыл глаза. Я боя-

лась заговорить, мне показалось, что он заснул.

— Вы маму видели, когда она извещение получила? — вдруг тихо спросил он.

Я молча кивнула головой.

Он ждал.

— Нет, на этот раз твоя мама не плакала, — поняв его, сказал я.

— Не плакала? — удивился он, и знакомая озорная улыбка мелькнула в его глазах. Ему как будто стало легче, и он жадно стал расспрашивать о матери, о соседях, о колхозе, о своей бригаде.

— Война кончится, я вам много интересного расскажу... А какие колхозы мы построим, — мечтательно произнес он. — Ноги у меня здоровые, вот только рука... Но это ничего.

Мы расстались под утро.

— Увидимся после войны в твоей бригаде, — сказала я прощаясь.

Он просил меня написать матери о нашей встрече.

* *

*

Кончилась война. Еще дымилась обожженная земля. На месте деревень лежали обугленные развалины. Но раны быстро затягивались. Наперекор всему буйно цвели сады. Из-под пепла вновь возрождалась жизнь.

Тихим июльским вечером я шла по родному селу. Столько незримых нитей связывает меня с этими местами! Как дорого все, как незабвенно... Безотрадное детство и старый отец, сгорбившийся над сохой... Колхоз, вы-

росший на моих глазах, и пионерский отряд...

У моста через реку, разделявшую село, стояли двое мужчин. Один из них был председатель сельсовета — пожилой человек с длинными, свисающими, как у запорожца, усами. Тыча суковатой ореховой палкой в яму, образовавшуюся у моста, он строго говорил своему собеседнику:

— Ты кого ждешь, сапер? Пойдут дожди — как урожай повезешь? Твой участок — значит, чини, не жди волшебства. Чтоб мне дорога была ровная.

— Машины вывезут, — ответил второй. На нем была выгоревшая на солнце гимнастерка, с аккуратно заправленным под ремень пустым рукавом.

Я сразу узнала это худое лицо с теплыми веснушками на носу. Лоб прорезали две глубокие морщины, виски поседели. Все это мне показалось неестественным, будто молодого актера неудачно загримировали под старика.

— А чем дорога плоха? Бывало, мы и не по таким дорогам ездили.

— Не знаю, — сердито перебил его председатель сельсовета, — не знаю, по каким дорогам вы ездили. На фронте не был, стар. В гражданку, помню, всякие дороги бывали, мы легче туров на скалы взбирались. Так то время другое было. Почему наша дорога должна быть сейчас похожа на военную? Жизнь ведь мирная! Машина за колхозные деньги куплена, не дядя на блюдечке принес, беречь ее надо... Чини свой участок — и все! И слушать ничего не хочу.

— Однако, сердит ты, хозяин села, ни ми-

нуты покоя не даешь,— с озорной смешинкой сказал Владимир.

— Уж лучше сердитым быть, чем равнодушным. Равнодушие — для любого дела гибель... Чини — вот тебе и весь мой сказ.

— А я тебя как раз и хотел в равнодушии упрекнуть,— сказал Владимир.— У меня сейчас свободных людей нет, но мост все-таки починю. А вы вот каждое лето новые навесы для пшеницы делаете. Ведь правда: делаете? Как только урожай увезут, навесы разбирают, растаскивают по дощечке, по гвоздику. Как это по-твоему называется — не равнодушие? Лес пропадает, деньги, трудодни пропадают. Собственного добра вам не жаль. Так вот, я не разрешу каждое лето новые навесы делать. Пусть кто-нибудь попробует хоть гвоздик тронуть — под суд отдам... А насчет моста ты меня зря ругаешь, я сам к тебе по этому делу шел.

— Так зачем же ты споришь? — разозлился председатель.— Или на войне старшим возражать научился?

— Наоборот, я на войне научился подчиняться старшим. Наш батальонный давно бы мне приказал: «Выполняй!» Разве я такие мосты чинил? — Сдерживая улыбку, он приложил левую руку к виску и чеканно произнес:— Есть починить мост, чтобы участок мой был ровнее ровного!

Председатель ласково взглянул на него из-под кустистых бровей, улыбнулся и, ничего не сказав, ушел.

— Владимир,— позвала я.

— Вы? — удивился он.

Мы долго беседовали. Он повез меня по той дороге, по которой ходил до войны, мимо милиции, где сидел под арестом, мимо школы, где провел суматошное детство. Он держал вожжи в левой руке. Когда я попыталась помочь ему, он сказал:

— Что у меня одна рука — это неважно... Теперь хоть упрекать не будут, что некрасиво пишу,— он рассмеялся собственной шутке.— Скупая вы на отметки были, никогда я у вас из троек не вылезал. Но теперь, с одной рукой, думаю на пятерку работать.

Он водил меня от участка к участку, рассказывал о бригадах, о звеньях высокого урожая. Нагнувшись, он взял в горсть немного земли и подкинул ее на ладони.

— Только на войне понял я, как дорога мне эта родная земля,— сказал он задумчиво.

Мы поднялись на высокий холм. Солнце садилось. Пламенел закат. Шелестящими волнами перекатывались хлеба, убегая вдаль, к границам Кабарды.

— Дважды рвали сорняк,— окидывая взглядом пшеничные дали, с гордостью произнес Владимир.

Мы подошли к бурной речушке и сели на берегу.

— Вырубили сады,— тихо сказал Владимир.

— Ничего, вырастим новые, лучше прежних будут.

— Мне столько хочется сделать, что одной жизни мне мало, ой, как мало... А вот что осталось от нашего стана. Помните, вы нам до войны лекции здесь читали? Новый стан по-

строю, да такой, чтоб отдельные комнаты у колхозников были, баня, ясли, библиотека. Чтоб радиоприемник играл и картину после работы можно было посмотреть...— А что вы думаете, нельзя? — вдруг резко спросил он, хотя я слушала его молча.

И в ту минуту он стал похож на того неумного вихрастого Володьку, которого я выгоняла из класса за шалости.

— Почему нельзя? — сказала я.— Можно даже больше, чем ты замышляешь. Ведь все в твоих руках.

Он с благодарностью посмотрел на меня. В лунном мареве тихо шептались травы.

— Но если сказать правду — трудно мне порой, труднее даже, чем было на фронте. Никогда не работал человек так, как работает сейчас. Вон за тем курганом работает бригада стариков. Я не звал их, сами пришли. Мать говорит, что у земли своя душа есть, и эту душу понять надо, а если поймешь, то она никогда не подведет...

— Не плачет мать больше?

— Нет,— улыбнулся он как-то особенно ласково,— все проверяет, хорошо ли работаю.

Он швырнул в воду камень.

— Год должен быть хорошим. Опять мы богатыми станем. Вот река,— какая сила под боком. А дороги какие можно проложить! Только надо захотеть по-настоящему. На фронте, бывало, скажет бригадный инженер: «За ночь дорогу проложить, мост починить». И мы такое делали, что, кажется, не под силу человеку. Эх, мне бы сюда нашего бригад-

ного инженера! — мечтательно воскликнул он, сдвинув фуражку на затылок.

В эту ночь Владимир был удивительно сло-воохотлив, я никогда не знала его таким.

— Хочется, чтобы у нас всего было много и чтоб самое лучшее. Потому я, однорукий, и в председатели колхоза пошел, чтобы самому проверить, что человек может сделать, если захочет, если все силы отдать, как на войне отдавали.

Он взъерошил светлые волосы и, подвинувшись ко мне, сказал тихо, как бы пове-ряя тайну:

— А в душе у меня такое волнение... ве-рите, мне от него трудно, ой, как трудно.

— Это хорошее волнение, очень хорошее...

В это время к нам подошел молодой, невы-сокого роста мужчина в сапогах и косо-воротке.

— Знакомьтесь,— сказал Владимир,— это наш агроном. Тоже фронтовик.

— Ну как, поедem или ночевать будем? — спросил агроном, и я услышала в его низком басистом голосе певучий говор украинца.

— Ночевать,— ответил Владимир.— Пока-жем завтра учительнице весь колхоз. Пусть посмотрит...

Мне захотелось рассказать этим двум за-мечательным людям, осетину и украинцу, хо-зяевам этих земель, как на этих холмах жили их отцы и деды — в неодолимой нужде, в бес-правии и кровавых расправах...

У курганов паслись стреноженные кони, над горами обломанным колечком висела бледная маленькая луна. Звенела река, сереб-

ром отливали поля, темной стеной вдали тянулись леса — наши леса, наши поля, наши реки.

И захваченная мечтой своих юных собеседников, я, позабыв о своих сединых, мечтала вместе с ними: вот в голубизну неба поднимается мрамор, гранит покрывает улицы, ярче звезд сверкает всюду электричество, нежным белым пухом цветут наши сады...

И я, который раз, пожалела о том, что не дана человеку вечность, потому что бессмертна жизнь на земле...

У СТАРОГО СКЛЕПА



Вечер застал меня на станции Ардон. До ночи мне надо было добраться в колхоз «Партизан». Но на привокзальной площади машин не было, и без особой радости я подумала о том, что ночь придется провести на станции.

— Садитесь, подвезу,— обратился ко мне полный мужчина средних лет с широкой крутой спиной.— Машин до утра не будет, а вас дождь промочит. Видите,— показал он на свинцово-фиолетовые тучи, которые стремительно неслись из-за гор.— Хорошие тучи! Большой должен быть дождь. Только бы мимо не прошел... Ну что ж, поехали?

Я с благодарностью приняла предложение незнакомого человека.

Пыльная извилистая дорога бежала по пшеничному полю, и высокие упругие колосья с жестким шуршанием царапали бока двуколки.

Мой спутник был молчалив, но я обратила внимание на то, с какой легкостью, с какой мальчишеской лихостью правил он лошадей. Каждый раз, натягивая вожжи, он чуть при-

вставал, и казалось, что он вот-вот замахнется и конь понесет.

— Вижу, что вы в кавалерии служили, лошадь чувствует вашу руку,— сказала я, желая завязать разговор.

Он повернул ко мне лицо и с усмешкой, но без горечи сказал:

— Хромых в армию не берут, тем более в кавалерию. Там ноги нужны такие, чтоб крепче стали были.

Он натянул вожжи, тихо присвистнул, и лошадь пошла бодрой рысью. Подул встречный ветер. Последние лучи солнца скользнули по вершинам курганов. Большие черные тучи мчались нам навстречу.

— Хоть вы и не были на фронте, но лошадью правите, как настоящий кавалерист,— сказала я.

Он снял шапку и повернул ко мне левую щеку.

— Видите: вот, что мне помешало воевать.

У него не было левого уха, и всю щеку, от виска до подбородка, прорезал розоватый след давней раны.

— Это одна причина. А вторая та, что я хромой. Я только с виду герой, а если присмотреться ко мне поближе, так я весь продырявлен.

— Как же это так? На войне, говорите, не были...

— Да, не был, а все-таки изувечили. Меня так и зовут: «одноухий кучер», как будто люди забыли мое имя.

Он умолк. Я не беспокоила его вопросами, чувствуя, что воспоминания ему неприятны.

Тучи промчались стороной, и в потемневшем вечернем небе проглянули первые бледные звезды. Ветер внезапно стих, и по поверхности пшеничного поля пробежала зыбкая рябь. То тут, то там прорывалась гортанная песенка перепела. Где-то за курганом прозвенел ручеек, и над посиневшими холмами повис острый серп луны.

— Вас куда везти,— спросил возница,— в бригаду или в село?

— В правление везите, мне председатель колхоза нужен.

— Председатель в поле ночует, в стане второй бригады. Значит, нам по пути,— сказал он и хлестнул лошадь.

Мы поднялись на пологий холм, где кончались пшеничные поля и начинались кукурузные посевы. Внизу, в ложбине, переливались яркие огни. Луна вдруг показалась мне совсем маленькой и бледной, а небо слишком высоким и холодно-неуютным. И мне захотелось поскорее добраться к этим огням внизу. Не спрашивая, я потянула к себе вожжи и хлестнула лошадь, которая и без того бежала довольно резво.

— Не бойтесь? — спросил мой спутник.— Лошадью править не каждый умеет, а места наши неровные.

— Мне эти места с детства знакомы,— ответила я, не отрывая взгляда от ярких огней колхозной деревни.

— Направо,— сказал он,— стан бригады, вон там, у кизиловой рощи, у старого склепа.

Я сдержала лошадь. Мы проехали мимо каменного сооружения, неясно белевшего в

темноте, и я не сразу узнала старый каменный склеп, затерявшийся среди курганов.

У длинного кирпичного здания возница помог мне сойти. Призывно, тепло светились окна колхозного стана, прорезая теплый мрак летней ночи широкими снопами электрического света. Навстречу нам вышел высокий сухой мужчина. Густые коротко подстриженные его волосы были белоснежны, а с загорелого лица юношески молодо глядели широко расставленные черные глаза.

— Что так поздно? — обратился он к моему спутнику.

— Склад долго не открывали. Велели завтра прислать машину и получить все, что нам положено... А это вот товарищ к вам. Я знал, что вы в бригаде ночуете, поэтому сюда привез.

— Много о вас говорят, — сказала я, протягивая старику руку. — Хочу посмотреть ваш колхоз.

— Стараемся, сил своих не утаиваем, — приветливо улыбнулся председатель и пригласил меня поужинать. — Располагайтесь. Завтра я к вашим услугам, а сейчас мне надо проскочить в первую бригаду.

Он легко взобрался на двуколку, в которой мы приехали, и тронул лошадь.

* *

*

— Разве вы никогда не слыхали историю склепа? — удивился мой спутник. — Ведь вы говорите, что места эти вам знакомы с детства...

— Нет, не слыхала,— ответила я.— Склеп очень красивый.

— Ничего в нем нет красивого: мшистые камни, лопухи да зеленые ящерицы. Только и того, что в жаркий день в его тени можно от солнца укрыться.

Одноухий кучер присел на камень и глубоко вздохнул. Вот что он мне рассказал:

— Когда-то, очень давно, одна вдова из фамилии Дреевых, спасая своих малолетних сыновей от кровной мести, сложила этот склеп и укрылась там. Двое близнецов, Дзамболат и Дзаналди, росли в нем под присмотром матери до десяти лет, но кровники их все же разыскали и увезли. От горя вдова превратилась в каменный столб — вот, видите этот ровный прямой столб у входа? Склеп разрушается, а столб стоит. Кровники поместили близнецов в высокую каменную башню — адат запрещает из кровной мести убивать детей. Их кормили, в надежде расправиться, когда они вырастут. Но мальчики были мужественны и храбры. Однажды ночью они выбрались из окна башни и бежали. Однако погоня быстро настигла их, и в тот момент, когда кровники занесли над ними кинжалы, старший, Дзамболат, взмолился богу: «О, бог богов, если ты не можешь ничем нам помочь, тогда преврати нас в камень, чтобы холодные кинжалы не могли поразить нас». И мальчики легли на дороге рядом с двумя большими булыжниками. Они и сейчас лежат у входа в Дигорское ущелье, а мать, говорят, все ждет, когда сыновья отмстят кровникам, и тогда она проснется от своего каменного сна.

Эту легенду рассказал мне, умирая, мой отец, когда мне было восемь лет. Ночью, во время жатвы, на него напал кровник и смертельно ранил. Тогда и меня ранили в бедро, поэтому с тех пор я хромым. Все это произошло возле этого большого камня, вот здесь, где мы с вами сидим. Я бы этот склеп давно разрушил, он только несчастья приносит. Да, отец тогда прижал меня к груди и простонал: «Отомсти за меня, иначе превращусь я в загробном мире в каменный столб».

— И вы отомстили?

— Нет, хотя имел возможность убить своего кровника — сына того, кто убил моего отца.

— Так вам ухо отрезали кровники? — как-то некстати спросила я.

— Нет. В тридцатом году, когда только начали создавать у нас колхозы, вот здесь у этого склепа на спящего председателя сельсовета ночью напали кулаки. Я был поблизости. Конечно, я мог уйти, их было трое, а я что... хромым кучер, с меня спрос маленький. Но я не ушел. В ту ночь я спас жизнь председателю сельсовета, но в драке один бандит отсек мне ухо.

— А жив еще человек, которого вы спасли?

— Жив, вы с ним только что познакомились, он сейчас председатель колхоза. Мы с ним почти ровесники. Он-то и был моим кровником, сыном того, кто убил моего отца... Вы спрашивали, отомстил ли я. Еще задолго до той ночи, когда я спас ему жизнь, он перестал быть моим кровником.

В ГОРАХ



I

анним июльским утром на кутане, где никогда не работали женщины, появилась девушка и сказала старшему чабану:

— Я зоотехник, прислана к вам на работу.

Старший чабан неодобрительно оглядел хрупкую фигурку девушки, посмотрел на ее маленький кулачок, который едва охватывал широкую ручку чемодана, и, подумав: «Не бабья эта работа, тем более не детская», — недовольно пробормотал:

— Что, разве в городе не было взрослых? У нас не детские ясли.

Девушка возмутилась.

— Я окончила Ленинградский зоотехнический институт, — сказала она, подчеркнув слово «ленинградский», и с гордостью смело глянула в глаза старику.

— Мне работники нужны. У нас, ма хур¹, здесь свои институты, потруднее ваших, — несколько мягче сказал пастух и взял из рук девушки чемодан. — Идем, если уж пришла, устраивайся. Только предупреждаю: я сам от-

¹ «Ма хур» — ласковое обращение: моя дорогая, моя милая, мое солнышко (осет.).

дышать не люблю и другим не дам потачки. А работа, на которую тебя прислали,—нелегкая, мужская...

Он широко зашагал по узкой тропинке, ведущей к стану. Девушка покорно последовала за ним, подавляя в себе тревогу и обиду на старика за то, что он с первой минуты напугал ее трудностями.

Июльское солнце палило нещадно. В раскаленном воздухе дрожало лиловое море. Притихли луга, приуныли травы. До боли в глазах сверкали алмазные вершины ледников. Легкие белые облака кружились между гор, ежеминутно меняя форму.

Девушка едва поспевала за стариком. Высокие каблуки ее босоножек глубоко погружались в горячий песок, и она часто нагибалась, чтобы вытряхнуть его из туфель.

— Вот он, наш институт,—сказал чабан, останавливаясь. На склонах зеленеющих холмов густой россыпью темнели овечьи стада.

— Как их много,—тревожно прошептала девушка и смущенно посмотрела в коричневое, изрезанное крупными морщинами лицо старого пастуха. Потом перевела взгляд на далекие, величественные снежные вершины, высящиеся над зелеными пастбищами, над холмами и серыми скалами. И она вдруг показалась себе такой маленькой, что робость закралась в ее сердце, и слова старика о том, что здесь работа не женская, показались ей справедливыми. С тоскливой нежностью вспомнила она уют институтских аудиторий и впервые пожалела о том, что не приняла предложение профессора остаться при кафедре.

«Куда легче: институт, аспирантская стипендия, большой город, впереди научная работа. А здесь этот угрюмый старик, уверенный в правоте своей пастушьей науки, дикие безмолвные горы и одиночество», — растерянно думала девушка.

Ей вспомнились слова профессора, сказанные им в первой лекции: «Вы пришли к нам из далеких горных аулов, из степных кишлаков и станиц. Нетерпеливо ждут вашего возвращения те, кто послал вас сюда. Помните это, друзья мои, и старайтесь получить побольше знаний, а доучиваться будете на местах, у самой жизни, ибо жизнь — самая лучшая школа. Свет и мудрость науки понесете вы к себе, вы, которым суждено воплотить мечту в действительность. Вы строите коммунизм — прекрасное будущее, о котором веками мечтали многие поколения»...

«Но вот я вернулась к себе в горы, а старый чабан не очень рад мне, — с горечью думала девушка, идя по тропинке и глядя в спину старого пастуха. — Может, ошибся старый профессор, сказав, что нас ждут с нетерпением?»

Чабан остановился. Остановилась и девушка. Из двери низенького деревянного строения на нее пахло молоком, вареным мясом, черемшой и махоркой. Это была столовая пастухов.

— Вот, прими гостью и накорми, — сказал старик. Он поставил чемодан у порога и, не оглядываясь, пошел обратно.

Навстречу девушке вышла высокая седая старуха. Белоснежные пряди волос выбива-

лись из-под ее черной шерстяной косынки. Оглядев девушку, она приветливо спросила:

— Кто ты, откуда пришла?

Потом потянула ее за руку, приглашая войти.

— Я из Заманкула. К вам на работу назначена. А зовут меня Замира.

Они вошли в помещение. Посреди длинной опрятной комнаты стоял дубовый стол, выскобленный до желтизны, вокруг него — табуретки, а у правой стены — полки с посудой.

— Садись, рассказывай. Мать, отец есть у тебя? Ты замужем? — спросила старуха и пододвинула ей табуретку.

— Мать есть, в колхозе работает, а отец с войны не вернулся. В извещении было сказано, что погиб под Ростовом... Я еще не замужем, мне только двадцать один год...

«И что она меня допрашивает?» — с досадой думала Замира, не спуская глаз со старухи.

— Вот как, и тебя, значит, война не помиловала... Так, так,— промолвила старуха. Затем сняла с полки чашку, достала из прохладного угла глиняный кувшин и поставила на стол перед девушкой.— Обед еще не готов, я тебя кефиром угощу. Пей, пожалуйста. А вот и хлеб.— Видишь, ма хур, при какой власти вам, молодым, жить довелось,— присаживаясь рядом с Замирой, сказала старуха.— При другой власти, при царе, скажем, кому бы ты, сиротка, нужна была? А теперь выучили тебя, дочь простого человека, и учили-то в каком городе! Так выучили, что ты на мужскую работу отважилась пойти... Да,— вздохнула ста-

руха,— новое, золотое время пришло. Хотя бы твою вот мать взять. Не спору, тяжела вдовья доля, но мать знает, за что вдовует: за свою власть, за счастье детей. И к тому же она при деле, человеком ее считают, заботятся о ней, не то что раньше «сидзаргас»¹... Не дожил Коста до наших дней. Другие теперь вдовы, другая жизнь,— мечтательно устремив вдаль широко открытые голубые глаза, говорила она.— Вам, молодым, за эту власть жизни своей не щадить, защищать ее от всякой грязи, от самой маленькой царапины, любить ее крепко, как мать родную... А скажи, ты Москву видела? Сын мой видел,— не ожидая ответа, сказала старуха.

— А сын ваш где? — спросила девушка.

— Мой сын? — переспросила старуха.— Мой сын погиб... Нет, не погиб он. Он защищал Москву, под Москвой и похоронен. Немца в Москву не пустил, значит, не напрасно кровь свою пролил. Значит, не погиб он. Когда он уходил на фронт, я напомнила ему слова Коста: «лучше смерть, чем позор».— Она сказала это с большой внутренней силой и гордо подняла свою красивую седую голову.

— А сын ваш учился? — спросила Замира, проникаясь глубоким уважением к этой женщине.

— Учился, ма хур, в Москве, учился на агронома, в том институте, который имя Ленина носит... Вот видишь: сын пастуха учился в Москве. Разве это не похоже на сказку?

¹ С и д з а р г а с — вдова — так называется одно из стихотворений Коста Хетагурова.

«Что в этом удивительного? — подумала девушка. — Тысячи наших студентов учатся в Москве, в Ленинграде, во всех городах Советского Союза. Ничего в этом нет сказочного».

А старуха, как бы угадав ее мысли, продолжала:

— В старину для того, чтобы мальчика только русскому языку научить, отдавали его в казачью станицу в батраки. А теперь учат вас в больших городах, да вам еще и деньги за это платят. Разве не сказочные времена наступили?

Не шевелясь, не перебивая, слушала Замира старуху, вглядываясь в ее светлое лицо с глазами, устремленными вдаль.

— Вспоминаем мы иногда со стариком свою молодость, а что вспоминать? Нечего. Одни бараны да отары. То стужа, то жара, горы да тропинки... Старик, небось, неласково тебя встретил, — не обращай на это внимания, он только с виду сердитый, а на самом деле добрый. Боится, как бы ласковым словом сердца своего не показать. Ты присмотришься к нему, он свою работу знает, не подведет, многому научит. Он сорок лет пасет баранов. Мальчиком-подпаском в этот кутан пришел, много горя мы с ним видели, всего не расскажешь... А пришла наша власть, он себя человеком почувствовал, от всех ему почет, вот и орден за честный труд дали. Ему бы теперь только жить и жить, но смерть сына сердце ему надорвала, больше года болел. Однако, вылечили доктора. И опять он сюда пришел. Не стану, говорит, я силы свои утаивать от родной власти.

Старуха умолкла и, прислушиваясь, повернула голову к двери.

— На водопой их погнали, слышишь?

Она встала и направилась к порогу. Девушка пошла за ней.

На дворе лежали кучи хвороста, кирпич, доски.

— Будем новый стан строить. Приезжал председатель колхоза, говорил, что на днях начнем. Восемь тысяч баранов у нас, а на будущий год обещали удвоить и даже утроить. Ты смотри — их на водопой погнали.

Девушка поднялась на кучу хвороста и замерла в восхищении. Живыми перекатывающими волнами заполнили долину овечьи стада, спускаясь в прохладные ложбины к прозрачным замшелым родничкам.

II

По вишневой аллее, огибающей новые кирпичные постройки стана, перечитывая на ходу письмо, написанное своему профессору в Ленинград, девушка подошла к прохладному родничку, притаившемуся в тени мшистой скалы.

«Дорогой Иван Александрович! Прошло больше трех лет, как я покинула институт и уехала в горы.

Не скрою, Вы помогли мне первое время удержаться на работе, не впасть в отчаяние, которое, видимо, суждено пережить каждому молодому специалисту с первых шагов его самостоятельной работы. Было очень трудно в

обстановке полного недоверия — дескать, девушке не под силу мужская работа.

Долго и терпеливо я завоевывала тот авторитет, которым пользуюсь сейчас в нашем большом коллективе. Старые чабаны упорно стояли на том, что наука ничего не смыслит в производстве овечьих стад и что, вообще, это не дело ученых. Но я всегда помнила Ваши слова: «Авторитет придет, если вы будете любить свое дело так же сильно, как любите свою мать, ребенка, дорогого вам человека».

Я убедилась в правоте Ваших слов, ибо моих недоверчивых друзей покорила неустанным упорством и тем, что не могла жить без своей работы ни одного дня.

Прошло три года, и я хочу сказать Вам, дорогой Иван Александрович, что не жалею ни о чем. Сейчас наш колхоз «Путь к коммунизму» имеет девятнадцать тысяч овец. Были и такие весны, когда у нас не погибал ни один ягненок... Тысячи маленьких курчавых теплых комочков. Мне кажется, что среди миллионных стад я узнала бы своих приемышей. Не смейтесь, Иван Александрович, над тем, что о своих ягнятах я говорю, как влюбленная. Ведь я Ваша ученица. Разве Вы меньше влюблены в свою работу?

Я послала в печать статью, так кое-что из моих наблюдений. Может, и пригодится молодому специалисту, только что пришедшему на работу. Прошу Вас, Иван Александрович, написать мне свое мнение о статье... Не забудьте, что Вы обещали приехать на время своего отпуска к нам в Осетию. Уверяю Вас: будет, что посмотреть, особенно людей. Какие у нас

люди! Говорят, что этот кутан принадлежал когда-то крупному овцеводу. Чтобы стада не достались их настоящим хозяевам — беднякам, владелец отравил баранту. Старые чабаны и сейчас без возмущения не могут говорить об этом мертвом кутане. Но все это давно осталось позади. Приезжайте, посмотрите: там, где раньше были убогие, пастушьи шалаши, сейчас благоустроенные кирпичные здания. Я теперь очень хорошо, наглядно понимаю, что значит ликвидировать разницу между городом и деревней, между умственным и физическим трудом. И я представляю себе, как будут люди жить при коммунизме. Если бы Вы знали, как я счастлива и как мне хочется всех наших людей сделать такими же счастливыми!...»

Замира подумала: «Надо написать, что я вышла замуж и жду ребенка, что муж мой замечательный человек, лучший тракторист в районе... Нет, не напишу, посмеется Иван Александрович и все сведет к моему личному счастью, скажет: девушка влюблена в мужа, ждет ребенка, и ей все видится в розовом свете. Нет, не напишу. Любовь — это личная жизнь, нельзя смешивать ее с работой. Личная жизнь! Разве может быть у человека две жизни? Люди говорят: личная жизнь — одно дело, а общественная — другое. Так ли это? Нет, надо спросить...»

Замира прислушалась и улыбнулась. Здесь, у родника, она каждую субботу встречала мужа. Он приезжал из тракторной колонны, расположенной в тридцати километрах от кутана. Замира быстро спряталась в небольшую

пещеру, где любила отдыхать в свободные минуты. Но, услышав близкий цокот копыт, не удержалась и вышла навстречу мужу.

— Ты опять пряталась? Ведь все равно найду,— улыбаясь, сказал молодой тракторист в синем комбинезоне и, соскочив с коня, нежно обнял Замиру. Ей показалось, что муж чем-то озабочен. Потом ее удивило, что он постригся — она так любила его упрямые густые кудри.

— Без волос ты такой смешной... как маленький мальчик,— ласково сказала она.

— Скоро уборка, на комбайне очень жарко будет...

Она прижала его голову к груди и прошептала:

— Я с каждым днем люблю тебя все сильнее. Скажи, это хорошо или плохо?

— Не знаю, наверное, хорошо,— сказал он, прижимаясь обветренной щекой к ее щеке.— Пойдем к нашему родничку, посидим немного.— Он обнял ее правой рукой за талию и тихо сказал: — Ты была такая тоненькая, тоненькая, а сейчас... Скажи, скоро?

— Скоро,— ответила она, поднимая голову, и он заметил желтоватые пятна на ее усталом лице.— А кого ты хочешь: мальчика или девочку?

— Девочку... похожую на тебя,— сказал он, целуя ее, и усадил на камень у родника, а сам пристроился на земле у ее ног. Замира говорила, глядя его стриженую голову:

— Да, забыла тебе сказать: сегодня сняли первый урожай с моих вишен. Помнишь, три года назад здесь был только серый песок,

а теперь целый вишневый сад. Это мой труд, моя гордость.

— А разве я тебе не помогал? Кто саженцы привозил? Кто выпрашивал их в питомнике? Я умолял их, а они надо мной смеялись: на камнях, мол, вишню разводить собирается.

Они помолчали.

— Сегодня, Замира, у нас с тобой важное дело. Как комсорг, ты должна созвать митинг. Весь мир собирает подписи под Стокгольмским воззванием, против атомной бомбы. Мы, советские люди, в этом деле, конечно, должны быть первыми. Наше государство, наш строй, наши люди и личная жизнь каждого советского человека устремлены к миру и к счастью всех людей на земле.

— Вот ты говоришь: личная жизнь. Скажи, как ты понимаешь это? Только перед твоим приездом я думала о том, где грань между общественной и личной жизнью? Я не вижу этой грани.

— Ты права, моя девочка, в нашей жизни этой грани нет,— сказал он.— А теперь пойдем, пора собирать народ.

Он легко вскочил на ноги и протянул Замире обе руки.

Молодой месяц робко дрожал в синей воде родничка. Первые звезды выглянули на небе, и острым снежным холодком повеяло с гор.

...На широкой площадке перед станом, обсаженной молодыми вишнями, собрались пастухи. За столом сидел старший чабан Афако, три года назад так неласково встретивший Замиру. Теперь он с гордостью называл ее

«наша Замира». Он часто обращался к ней за советом, делился самыми сокровенными мыслями, говорил, что сожалеет лишь о том, что человеку дана только одна жизнь. «Небось, в коммунизме, на большом пиру забудешь меня помянуть, Замира, а?»

К столу подошла старуха, жена Афако.

— Я хочу первая подписаться под этой бумагой, где люди протестуют против войны,— сказала она. Замира подала ей стул, но она не села. Одной рукой она оперлась о край стола, другой сняла с головы черную повязку и бросила ее на землю, как это делают пожилые осетинки в самых торжественных случаях. Пастухи, тесно сидевшие вокруг стола, встали и сняли шапки. Мальчик-подпасок поднял платок и положил на стол.— Я хочу сказать, потому что писать не умею. Пусть мои слова под этой бумагой напишет Замира — ей предстоит скоро стать матерью. Я дочь пастуха, родилась в кутане. И замуж вышла за пастуха, и сына родила в кутане в ту ночь, когда над миром всходило солнце новой жизни, когда Ленин сказал всем пастухам: «Боритесь и станете людьми...» Война убила моего сына, который учился в Москве. Война осиротила Замиру. Я не хочу, чтобы матери оплакивали убитых детей. Я не хочу, чтобы дети оставались без отцов. Я не хочу, чтобы невесты оплакивали женихов, жены мужей, сестры братьев. Я хочу, чтобы дети учились, чтобы каменщики строили красивые дома, чтобы там, где когда-то было горе, всегда светило солнце...

Она взяла лист бумаги и, высоко подняв его, призывно протянула вперед.

К столу, как в час торжественной клятвы, один за другим подходили пастухи и ставили свои подписи...

III

Небо дрожало синей россыпью звезд. Серебром отливала роса на ромашковых лугах. Замира лежала на спине. Подушка жгла ей голову, и она то и дело переворачивала ее.

— Мне страшно, нана.¹

Старуха сидела рядом и большой белой рукой гладила ее разбросанные волосы.

— Потерпи немного, уже ягнята заблеяли — это к рассвету.

Замира приподняла голову и посмотрела в окно. На темном предрассветном небе большая яркая звезда рассыпала вокруг себя голубоватые дрожащие снежинки.

Тяжело опуская голову на подушку, Замира облизнула сухие воспаленные губы и прошептала:

— Ох, больно мне, нана, трудно...

— Скоро утро, — певуче сказала старуха.

Она опустилась на колени перед кроватью, провела рукой по щекам Замиры, пригладила ее волосы и ровным тихим голосом продолжала, как бы убаюкивая:

— Кричи, милая, кричи, не стесняйся, это право роженицы... Потому и неугасима любовь матери, что ребенок ей в великих муках достается... Скоро утро, повезут тебя в боль-

¹ Н а н а — бабушка, мама (осет.).

ницу, белую, как снег, чистую, как сама любовь матери. Вспоминаю, как я родила своего сына. Была зима, февраль. В это время, сама знаешь, овцы уже котятся. Лет мне было гораздо меньше, чем тебе сейчас, и рожала я не в белой больнице, а в темном пастушьем шалаше, на соломе, прикрытой войлоком. Теперь у тебя, ма хур, овцы котятся в лучших условиях, чем женщина рожала тогда...

Замира притихла. Медленная певучая речь старухи успокаивала ее.

— ...В ту ночь волки задрали овцу и остались от матери два маленьких беспомощных ягненка. Муж принес их в подоле черкески, положил ко мне под одеяло и сказал: «Жалко, согрей». Часто я потом рассказывала об этом сыну, и он смеялся тому, что родился в одних яслях с ягнятами... А теперь времена, ма хур, другие, сказочные времена...

— Ох, нана, трудно мне,— прошептала Замира запекшимися губами.

-- Ничего, потерпи, скоро утро.

Старуха подошла к окну и распахнула его. Предрассветный холод ворвался в комнату. Радостным птичьим гомоном были полны росистые луга. Звенел родничок под горой, и розовый туман стлался над холмами. Тычась теплыми сонными мордочками в мохнатые бока матерей, ягнята нехотя отрывались от них.

Всходило солнце. Горячим золотом переливалось оно в мокрых головках цветов. Приминая высокую росистую траву, стада рассыпались по долине.

— Скоро тебя повезут,— ласково шептала

старуха,— старик еще с вечера ускакал, молодым не доверил. До МТС всего тридцать километров, оттуда позвонят в район и за тобой приедут,— говорила старуха, чувствуя под рукой вздрагивающее тело молодой женщины.— Тебе ведь доктора давно сказали, что надо уезжать, а ты до всего жадная, никому ягнят своих не доверила. А вот теперь твоего маленького ягненка принять некому.

Быстро приближаясь, донесся в комнату гул самолета.

— Это за тобой приехали, за тобой.

В высоком утреннем небе сверкнуло серебристое крыло самолета. Машина делала круг перед посадкой. Пастухи запрокинули головы.

— За ней, за нашей Замирой,— радостно говорили они. Тревожна была эта ночь в стане, пастухи не спали, прислушиваясь к каждому шороху в комнате Замиры.

Как гигантский орел, парил санитарный самолет над кирпичными постройками стана. Потом плавно пошел к земле, коснулся колесами влажных головок ромашек и опустился на скошенном лугу. Все побежали к серебристой машине.

— Где роженица? — спросила молодая женщина в белоснежном халате, выходя с носилками из кабины.

Прежде чем проститься с Замирой, старуха тихо сказала акушерке:

— Молодая... Это хорошо. И ты, и Замира, и земля наша, и солнце — все, все молодое,— говорила она, идя за носилками. Во дворе стана к ней подошел муж, только что вернувшийся из МТС.

— Спасибо, спасибо, что поспел,— сказала она ему. Потом повернула лицо навстречу восходящему солнцу, туда, откуда доносился гул удаляющегося самолета, и, широко открыв голубые глаза, тихо сказала:

— Полетела наша Замира навстречу жизни.

— Навстречу жизни,— повторили пастухи...

ДВА ДЕТСТВА



Моему маленькому сыну
Алану посвящаю

елое здание молочной фермы стоит на краю пшеничного поля. Молодые фруктовые деревья двумя рядами окружают ферму. Посреди двора раскинула свои тонкие ароматные ветви алыча. К дереву привязана лошадь. Она лениво вскидывает мордой и шлепает себя по бокам жестким хвостом, отгоняя мух. Длинным, тонким прутиком мальчик лет одиннадцати помогает лошади.

Чуть подальше, склонившись над огромной лоханью, работница моет бидоны из-под молока, опрокидывая их в специальные деревянные гнезда для просушки.

— Вожатый говорил, что всем прийти надо,— обиженно тянул мальчик.— В поле пойдем сорняки рвать. А я что скажу?

— Так и скажешь, что мать не отпустила, наказала тебя за то, что не хотел помочь. Сиди, все равно никуда не пушу.

Покончив с бидонами, она опустилась на корточки перед маленьким рыжеватым теленком и металлической лопаткой стала счищать

шершавые кружочки лишая на его морде. Теленок слабо сопротивлялся.

Во двор вошел невысокий коренастый человек.

— Вот хоть у него спроси, у бригадира,— снова занял мальчик,— мы к нему должны идти.

— Ты почему здесь? — удивился бригадир.— Слышишь, барабан?

В чистом воздухе летнего утра слышались ритмичная дробь барабана и звонкие детские голоса.

Мы, как буря, грозны в нападение,

И в защите, как стена.

Так учила нас война.

Наша молодость сильна...

Наша молодость сильна.

Росистые утренние тени тянулись от деревьев к зданию фермы, от густой листвы шел едва уловимый пар. На дороге, прорезавшей пшеничное поле, показался пионерский отряд. Сверкало золото на алом знамени, пламенели галстуки на белых рубашках ребят.

— Видишь? — умоляюще глядя на мать, сказал мальчик.— Я говорил, что пойдут.

Мать сердито глянула на сына и ничего не ответила.

— За что его так? — спросил бригадир.

— За дело,— спокойно ответила мать.

— Может, отпустишь? Он на лошади раньше отряда к месту доскачет,— попросил бригадир, недоумевающе поглядывая то на мальчика, то на мать.

— Нет,— отрезала женщина.— Он наказан. Я его попросила бочонок воды привез-

ти — сам знаешь, сейчас лишних рук нет, — он не захотел. В отряд, говорит, пойду, общественное задание выполнять. Тоже мне — общественник! — сказала женщина, сердито посмотрев на сына. — А что деревья два дня в такую жару не политы, это ему, видите ли, не общественное...

— Ребята дразнить станут, — громко всхлипывал мальчик, — скажут: единоличник, матери трудодни помогал зарабатывать... А вожатый говорил, что сперва надо общественное.

— Не хнычь! — прикрикнула мать. — Ишь, какой колхозник нашелся. И чему вас только вожатый учит, если ты до сих пор не можешь понять, что и пшеница, и ферма, и сад, и телята — все одинаково наше, не бог знает чье. Вон листья на деревьях от жары свернулись, а ты, вместо того, чтобы помочь бочонок воды привезти, все утро доказываешь мне — что есть общественное, а что — личное. И скажи, пожалуйста, откуда это у них берется? погоди, вот я сама вожатому расскажу, как ты ведешь себя дома, так тебе еще выговор товарищи дадут!

— Значит, кефир ребятам к обеду пришьлешь, — сказал бригадир, вглядываясь в волнистую даль пшеничного поля, над которым плыло пионерское знамя. — Ну, пойду, а то опередят.

Он ударил лошадь, сочувственно посмотрел на мальчика и, кивнув головой в сторону матери, развел руками — не могу, мол, ничем помочь, не моя над тобой власть.

— Мама, я пойду, — подойдя к матери и умоляюще заглядывая ей в глаза, сказал маль-

чик.— Если бы ты была на моем месте, ты бы понимала, что значит пропустить сбор, не пойти со звоном...

Мать сняла фартук, отряхнулась и посмотрела на сына.

— Если бы я была на твоём месте? — задумчиво повторила она и, положив ладони на щеки сына, приблизила обиженное лицо мальчика к себе.— Если бы я могла быть на твоём месте!.. Тогда я была бы очень счастлива. Как вы должны любить и ценить все, что имеете!

Мальчик обрадовался и, торопясь, заговорил:

— А я, что, разве не люблю? Вот я и говорю тебе, мамочка, отпусти в звено...

— Все, все, от большого ученого до рядового колхозника заботятся о вас. Оправдаете ли вы все это? А мы знаешь, как росли?

— Знаю, знаю: при старом режиме учителя вас били, в угол ставили, вы в рваных платьях ходили, сухой чурек кушали,— торопливо перечислял мальчик,— ты мне уже говорила об этом.

— А теперь я хочу сказать тебе о другом,— перебила она сына.— Пойми, к чему я разговор веду.

Наша молодость сильна,
Наша молодость сильна,

— призывно доносится удаляющаяся песня. Мальчик вслушивается, нетерпеливо поглядывая на мать.

— Скорее, мама,— торопит он.

— В крови и страданиях родилось твоё счастье,— взволнованно говорит женщина, то-

же вслушиваясь в звонкую песню детей.— Помню себя такой же, как сейчас ты. Январская пурга заметала снегом село. На краю села в окопах наши люди насмерть бились с белогвардейцами. Плечом к плечу дрались родные братья и кровники, русские и осетины. Тогда и родилась твоя молодость... В окопах твой дед встретился с глазу на глаз со своим кровником. Видел бригадира? Так вот, встретился твой дед с его дедом. Сорок лет они ненавидели друг друга, сорок лет враждовали. Бывало, мирили их всем селом, но ненависть опять вспыхивала в их сердцах.

— А за что они так ненавидели друг друга? — заинтересовался мальчик.

— ...В морозную ночь,— задумчиво продолжала мать, словно не расслышав вопроса,— полз твой дед навстречу белым бандитам. Ветер заметал окопы ледяной порошей, пули со звоном ударялись о мерзлую землю. Тут он встретился со своим кровником. Оба схватились за кинжалы, но еще неосознанная сила отвела удар кровной мести... Тогда-то и родилась твоя счастливая молодость...

— Как, разве я родился в девятнадцатом году? — удивился мальчик.— Не понимаю, мама.

— И да, и нет,— ответила мать.— Если бы не эти годы, не видать бы нам нашего счастья сейчас... Дед был ранен, он умирал и, умирая, передал свое оружие кровнику. Он показал на наступающих белых и сказал: «Убей их, это они твои кровники, они кровники наших детей». Тогда мне были непонятны слова отца, и все люди, окружающие его, тоже удиви-

лись — впервые они встретили силу, которая отвела кинжал кровной мести... В страданиях, в крови и в борьбе родилась твоя молодость... Сегодня, слушая твой разговор о личном и общественном, я вспомнила об этом времени... У меня украли детство, а твоя жизнь идет светлой, широкой дорогой. Борись за нее! Вот ты отказался полить деревья, они задыхаются от жажды. А для кого они посажены здесь?.. Каждой мелочью, трудом доказывай, что ты достоин своего счастья...

— Сейчас полью,— горячо перебил ее мальчик, направляясь к бочке.

— Не надо, я сама сделаю,— остановила его мать.— Я отведу тебя к вожатому и скажу, что не пустила на сбор. Но ты сам расскажешь товарищам, что не хотел мне помочь. Пусть звено решит, кто из нас прав.

— Хорошо,—неожиданно твердо, по-мужски произнес мальчик,— я расскажу... А можно мне рассказать на звене про деда, про бой с белыми, про кровников? Можно рассказать, как они помирились?

Мать кивнула головой.

Они молча пересекли пшеничное поле. Высокие колосья тяжело клонились к земле, легкой рябью пробегал по ним ветерок. В теплом шелесте зреющего зерна, в несмолкаемых шорохах ветра слышалась ей звонкая молодость сына.

ЗАПИСКА



Дочери моей
Лемзе посвящаю

начит, договорились, ребята?

— Не беспокойтесь, Анна Федоровна,— раздались со всех концов класса детские голоса.

— Я надеюсь,— сказала пожилая учительница,— что вы покажете себя настоящими семиклассниками. От того, как вы будете учить уроки, как будете сидеть в классе, вообще, от всего вашего поведения будет зависеть практика наших молодых учителей...

— Знаем, знаем, если студент-практикант получит тройку, так ему стипендии не дадут.

— Не только это,— сказала Анна Федоровна.— Вы должны понимать, что учитель не может сдать свою педагогическую практику на тройку... Вот ты, например,— обратилась она к краснощекому ученику,— ты вчера чуть не заплакал, когда учительница по географии поставила тебе тройку. Почему?

— Стыдно было,— ответил краснощекий.

— Тебе стыдно перед классом, а студенту будет стыдно и перед вами, и перед своими

профессорами, и перед нами — старшими учителями. Поэтому помогайте им. Молодой учительнице первый раз прийти в класс страшновато...

И Анне Федоровне вспомнился ее первый день в школе.

...В 1915 году шестнадцатилетней учительницей пришла Анна Федоровна в горскую, «туземную», как называли их тогда, церковно-приходскую школу. Во дворе ее встретили дети и молча, настороженно разглядывали голубоглазую, светловолосую русскую девушку. Она не говорила по-осетински, дети не говорили по-русски.

Она ночевала в классе, устроившись на узеньких партах. Сентябрьская ночь была темна, молчалива. Где-то далеко, на другом конце аула, надсадно лаяла собака, и в мутном осеннем небе тоскливо курлыкали улетающие журавли.

Анна Федоровна смотрела тогда сквозь окно в глухую осеннюю ночь, и казалось ей, что идет она с завязанными глазами по краю высокого обрыва...

Много лет прошло с тех пор... Когда-то длинные русые тугие косы она выкладывает теперь на голове белоснежной волнистой короной. Она теперь заслуженная учительница, депутат Верховного Совета республики, преподает русский язык в мужской школе. Каждый год, когда порог ее класса переступают молодые практиканты, она с юным волнением следит за тем, чтобы ее ученики, упаси боже, как она говорит, не подвели молодого, смутив его каким-нибудь поступком.

Неделю назад она предупредила свой класс, что в их школе будут проходить практику студенты педагогического института.

— Через десять минут, ребята, придут и сами студенты, их профессор и методист... Все ли у вас в порядке?

— Все, все, Анна Федоровна,— ответил староста класса и обратился к краснощекому ученику, который получил вчера тройку по географии.— Ты всегда не успеваешь писать диктант. Садись вперед, а то опять будешь сто раз переспрашивать, спутаешь все...

— Ладно уж, подумаешь,— обиделся краснощекий, но все же пересел на первую парту.

Еще не прозвенел звонок, а класс Анны Федоровны был уже готов. У передней стены сидели студенты, возле первой парты, куда пересел краснощекий, поместился методист. Профессор и Анна Федоровна уселись немного в стороне.

В класс вошла тоненькая высокая девушка в очках. Она часто моргала близорукими глазами и не знала, куда деть руки. Она их то совала в карманы жакета, то неестественно прямо вытягивала по швам. Звонким дрогнувшим голосом она сказала:

— Здравствуйте, ребята!

Ей ответили дружным «Здравствуйте!»

Она слишком долго листала журнал, побелевшими губами чересчур громко выкрикивала фамилии учеников. Потом объявила, что сейчас будет диктант.

— Достаньте тетради, ребята,— сказала она.

Зашуршала бумага, дети, как по команде, взяли ручки и приготовились писать.

Анна Федоровна все время ловила на себе вопрошающие детские взгляды и чуть заметным мягким кивком головы давала знать своим ребятам, что довольна ими.

Молодая учительница волновалась и слишком быстро читала текст.

Краснощекий, как того и ждали товарищи, не успевал записывать. Он растерянно поглядывал то на класс, то на Анну Федоровну. Он знал, что она не может сейчас вмешаться в урок, и стал беспокойно ерзать на парте и оглядываться на товарищей. Все были заняты и не обращали внимания на краснощекого. Его глаза налились слезами, и, отчаявшись, он положил ручку на парту, успев записать только первое предложение.

Молодая учительница неожиданно отошла от стола и стала ходить между партами. Голос ее звучал то у передних парт, то у задних. Класс забеспокоился, стриженные головы поворачивались, следя за учительницей. Это отвлекало внимание от диктанта.

Методист и профессор переглянулись, и краснощекий услышал приглушенный шепот методиста: «Плохо, очень плохо, во время диктанта ходить нельзя»...

Мальчик бросил на Анну Федоровну умоляющий взгляд, но она не поняла его. «Плохо,— подумал краснощекий,— ей поставят двойку?» Его личное горе вдруг отодвинулось. Забыв о том, что ему самому грозит двойка за ненаписанный диктант, он вырвал из тетради лист, где стояла только первая фраза дик-

танта: «Грядущее принадлежит нам». Но лист оторвался неровно, и на нем осталось слово «грядущее». Он торопливо написал на обрывке: «Вовка, передай ей — грядущее — поставят двойку, ходить нельзя».

Он свернул записку и передал на заднюю парту. Записка, как по конвейеру поползла в конец класса и попала в руки старосты. Тот дважды прочел ее: «Вовка, передай ей — грядущее — поставят двойку, ходить нельзя». Что за черт? — подумал он, но тут же понял.

В свою очередь староста вырвал из середины тетради развернутый лист и большими буквами красным карандашом написал: «Ходить нельзя, идите на место». Потом он вынул из-под парты левую ногу и булавкой прикрепил лист к колену.

Проходя между партами и повторяя текст диктанта, учительница вдруг заметила лист бумаги, прикрепленный к брюкам мальчика. Тот смущенно смотрел ей в глаза и показывал на свое колено. Она собралась было сделать ученику замечание, но, прочтя написанное, покраснела и молча прошла к столу.

Все это время краснощекий не сводил глаз с блокнота методиста, где, как иероглифы, темнели таинственные пометки.

Методист перечеркнул красным карандашом какой-то кружочек и рядом поставил маленький крестик. Краснощекий забыл о грозившей ему двойке, его волновал этот крестик. «Что он означает? — мучительно думал мальчик: — четверка или пятерка?»

В том, что молодой практикантке ни двойки, ни тройки не поставят, он уже был уверен.

НА РАСКОПКАХ



н энергичным жестом откинул одеяло, спустил ноги на пол и, нагнувшись к уху товарища, прошептал:

— Пойдем? Посмотри, какое голубое безмолвие... Весь лагерь спит.

— Пойдем,— приподнимаясь, ответил товарищ и пошутил: — Боюсь, Володя, что за время наших раскопок ты из инженера-геолога превратишься в поэта.

— В этом нет ничего удивительного — моя профессия близка к поэтической, только рифмы у меня не получаются... Возьми фуфайку, Алан.

— А сам? — спросил Алан.

— Я в кожанке пойду.

Дремотный свет луны сочится сквозь слюдяные оконца палатки. Он падает на две узенькие походные кровати, вплотную придвинутые к полотняной стене, на металлический ящик, заменяющий двум друзьям и тумбочку, и сейф, и письменный стол.

Товарищи оделись. Володя невысок, плотен, у него темные, с легкой проседью курчавые волосы; Алан худощав и лыс, и товарищи

говорят, что от своих древних предков, могучих аланов, он унаследовал только эту раннюю величественную лысину...

Лагерь геологоразведочной партии уже больше трех месяцев занимается раскопками мертвого города.

— Фонарь не забудь,— шепнул Володя, беря палку.

— По какой же тропе тебя повести? — спросил Алан.

— Ну, конечно, по той, о которой ты рассказывал,— ответил Володя. И, выйдя из палатки, восторженно прошептал: — Посмотри, голубое море звезд.

— Море звезд,— таким же восторженным шепотом повторил Алан.

Друзья бесшумно проскользнули мимо белых палаток лагеря, обогнули высокий холм и углубились в темную узкую лощину. Дрожащие лунные тени стелились по дну лощины, повеяло неприветливым холодком.

— Сейчас пройдем эту лощину, поднимемся и попадем в мой семейный склеп,— шутил Алан, идя впереди товарища.

— Скоро рассвет,— сказал Володя, очарованный безмолвной красотой горной ночи.

— До рассвета вернемся, еще будем храпеть на кроватях, как молодые боги. Не хочу тебе днем показывать эти места, не интересно,— сказал Алан.

— Надо вернуться до приезда Ольги Кондратьевны. Мы преподнесем ей горные фиалки.

Со дня на день лагерь ждал приезда из Москвы академика Пчельниковой, известного ученого-археолога. Пчельникова много на-

дежд возлагала на своего любимого ученика Алана, который недавно защитил кандидатскую диссертацию.

— Ты,— говорила она ему,— должен помочь своему маленькому народу понять историю его далеких предков — аланов. Археология — наука интересная, но без любви лучше на эту работу не идти.

Когда после войны Алан вернулся на кафедру, Пчельникова долго трясла его большую руку и, погладив ладонью его ордена, сказала:

— Герой! Ты настоящий богатырь, недаром зовут тебя Аланом. Начинай работать.

На раскопки мертвого города в горы Осетии Алан был послан в качестве старшего научного сотрудника. За башней, к которой направлялись друзья, находилось кладбище, замурованное в горе. Еще на фабрике Алан рассказывал Владимиру о своем маленьком ауле, прилепившемся на краю горного ущелья. Сейчас представилась возможность показать другу старую башню и «фамильный склеп», как в шутку называл Алан кладбище своего аула.

— Ты знаешь, Володя, мне кажется, что в горах и звезды совсем другие...

— Ну, конечно, не то, что мои рязанские. У вас тут, как говорится, и ночи темнее, и очи чернее.

— Сколько лет я тебя знаю, и никогда не могу угадать — когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно.

— Ух, как напугала... Смотри, ящерица, и та здесь особенная, пугливая, как серна,—

тем же полушутливым тоном сказал Володя, отскочив в сторону.

Товарищи вышли на узенькую тропинку, повисшую на краю обрыва.

— По ней теперь уже никто не ходит. Ты смотри, поосторожней.

Мелкие камни срывались из под ног и скатывались в пропасть.

Товарищи вышли на маленькую площадку перед башней. У основания башни, в скале, было много расщелин, заложенных камнями. У одной из них друзья остановились. Алан опустился на камень.

— Вот наш «фамильный склеп»,— сказал он.— Здесь похоронены прадед, дед и отец.

— Может, и тебя, столетнего старца, Академия наук из Москвы потащит сюда хоронить,— пошутил Володя, почувствовав в голосе Алана взволнованные нотки.

— Посмотреть интересно,— тихо сказал Алан и погладил холодный камень.— Камень все такой же, все на месте, будто это было только вчера... Смотри...

Над башней плыли голубые туманы, звезды то гасли, то вспыхивали в вышине.

— Расскажи,— попросил Володя.

— Хорошо,— промолвил Алан, овеянный воспоминаниями детства,— я расскажу. Этот кусочек земли много раз спасал мне жизнь, поэтому он мне так дорог.

...Алан смутно помнил бурную осеннюю ночь и грохот горного обвала. Под обвалом погибла вся баранта аула. Мужчины все ушли туда, в саклях остались только женщины и дети. Утром, когда утихла буря и взошло над

горами солнце, люди принесли тело отца, вернутое в черную бурку. Этой бурки долго потом боялся мальчик, потому что не узнал под ней отца, изуродованного обвалом...

Алан помнит, как собрался весь аул и отца понесли высоко-высоко к каменной стене. Здесь его замуровали и заложили расщелину большими камнями. Он помнит искаженное горем лицо матери, длинные распущенные волосы, исцарапанные щеки. И еще помнит Алан, как летними ночами, когда все погружалось в глубокий сон, он медленно шел за матерью по узкой осыпающейся тропинке, по которой уже не проходили люди, говоря, что она оползает. Они приходили к старой башне на краю ущелья, и мать, прижав его к груди, долго молча сидела на холодном камне у могилы отца. Похолодевшими губами она прикасалась к щеке сына и тихо шептала, заглядывая в пропасть:

— Хочешь, полетим?

Сколько безысходного вдовьего горя было в этих двух словах!

Мальчик всем телом прижимался к матери, ему было страшно.

— Не хочу лететь,— говорил он,— пойдем домой, разведем огонь и будем греться у очага.

Сердце матери теплело, и смерть отступала от них.

Дома, у каменного очага, мать рассказывала сыну долгие сказки о голубой мерцающей звезде, которую нужно похитить у злого колдуна, чтобы все люди были счастливы. Но эту звезду может похитить только самый

сильный, самый смелый и самый добрый человек.

И мальчику грезились могучие богатыри и необыкновенные кони, летающие по небу. Но звезду поймать никому не удавалось. Один за другим исчезали богатыри в голубом звездном море и не возвращались. И мальчик плакал горькими, беспомощными слезами.

Помнит Алан и другую осеннюю ночь. Обвала не было, но от грохота выстрелов сотрясались горы. В ауле появилось много чужих вооруженных мужчин. Их называли партизанами. Прекрасные черные бурки были на них, а на шапках — яркокрасные, огненные звезды...

В ту ночь, улыбаясь и плача, прижимая голову сына к сердцу, она без конца повторяла.

— Ты будешь жить... Теперь ты будешь жить...

Много дней и ночей стоял в горах непрерывный гул. Из самых отдаленных и высоких аулов спустились к входу в ущелье старики и молодые, чтобы не пропустить врага в горы.

У высокой башни, где только птицы летают да проплывают тучи, за покрытыми мхом камнями, за корнями диких сосен, за жестокими сухими кустами — всюду врага поджидала смерть.

— Белые, — говорили мужчины.

— Белые, — шептали женщины.

— Белые, — повторяли дети.

Они играли в войну, и Алан помнит, как его выгнали из игры за то, что он не захотел быть «белым».

— Молодец, хорошо сделал, что не захотел

быть белым,— похвалил его партизанский начальник, греясь ночью у костра.— Всегда будь красным. Ленин тебя похвалил бы.

В ту ночь впервые услышал мальчик имя Ленин. Вокруг очага на бурках лежали партизаны. На рассвете они уходили.

— Ленин послал нам помощь из России, враг бежит...

«Кто такой Ленин? Что такое Россия?»— молчаливо вопрошали горячие глаза мальчика.

Партизанский начальник говорил, что Ленин самый главный богатырь, самый смелый и самый добрый.

«Значит, он может достать голубую звезду,— подумал Алан.

— А земля? — спрашивала мать.

— Будет у тебя земля. У всех будет земля,— отвечал начальник.— И сын твой будет учиться в большом городе.

«А что такое город?» — думал мальчик, не смея спросить.

В долгие зимние ночи ему снились большие сильные люди, которые шли по краю ущелья, и огромные камни из-под их ног с грохотом скатывались в пропасть. Мальчик просыпался с бьющимся сердцем, звал мать и тихо говорил: «Ленин».

— Скоро, скоро ты вырастешь, уйдешь в большой город и увидишь богатыря Ленина,— шептала мать, успокаивая его...

— Я помню день, когда тебя впервые привели в общежитие рабфака,— перебил товарища Володя, желая отвлечь его от печальных воспоминаний детства.— Ты был смеш-

ной-пресмешной. Черт знает, куда делись твои кудри? Не было ни одной девушки, которая бы не заглядывалась на тебя.

— А мама не дожила, не увидела меня взрослым,— занятый своими мыслями, сказал Алан.

— Смотри: огонек, огонек,— зашептал вдруг Володя и прижался лицом к расщелине, вглядываясь в темноту склепа.

Алан тоже поднялся, но ничего не увидел.

— Что бы это могло быть, как ты думаешь? — спросил Володя.

— Я ничего не вижу.

— Как не видишь? Отойди немного. Вот, смотри, опять.

Действительно, в глубине могильника светился острый, как игла, голубоватый огонек.

— Вижу,— выдохнул Алан.

— Голубой меч... А камень трудно отвалить, как ты думаешь, Алан?

— Днем лазить в эти могильники нельзя, райисполком не разрешает.

— Давай попробуем сейчас,— с мальчишеским озорством сказал Володя.

— Давай.

Друзья изо всех сил налегли на камень. Вначале он не поддавался, но после нескольких усилий отвалился и полетел в пропасть.

Товарищи вошли в могильник и на секунду остановились, освещая фонарем углы склепа.

— А где же голубая игла?

В могильнике лежали большие квадратные камни.

— Под этими камнями похоронены мои

старики, — сказал Алан. — Вот здесь отец, вот здесь — мать.

Товарищи пошли дальше в глубь пещеры. На одном повороте они опять увидели манящий свет голубой иглы, но она сверкнула и снова померкла.

— Что за чертовщина? — воскликнул Алан. — Гаси фонарь.

Они медленно пошли дальше, уже в темноте, изредка освещая путь электрическим фонариком.

— Вот опять... Смотри, вот она... Стой! — прошептал Володя.

Товарищи остановились. Размеренно, со звоном падала на камень вода. В этом месте пол пещеры был темный и влажный. Друзья опустились на колени. Светящаяся игла теперь не убегала от них, она лежала на одном месте и искрилась серовато-голубым светом.

— Лопатку, — прошептал Володя и ладонью погладил светящийся луч.

Маленькой лопаточкой, напоминающей аптечный шпатель, Володя осторожно снял верхний слой земли. Алан небольшой щеточкой бережно сметал землю со светящейся иглы. Увлеченные работой, они не заметили, как в могильнике поредел мрак, поблек свет фонаря и наступило утро. Наконец, они вытащили металлический шлем причудливой формы. Голубая игла, которая светила им в темноте, оказалась блестящим камнем, вделанным в шлем.

— Похоже на сапфир. А впрочем, пошли, — сказал Володя и поднялся, отряхивая колени.

Алан снял с себя фуфайку и бережно завернул в нее находку. «Чей он был? Кто носил его?» — взволнованно подумал он.

— Какое солнце! — воскликнул Володя, когда они вышли из могильника. Оба закрыли глаза от яркого света и легли на землю.

Черникой и мхом покрылись здесь камни. Сине-розовыми слезами играла роса под солнцем.

— Фиалки, как в слезах. Нарвем и преподнесем Ольге Кондратьевне, — сказал Алан и неожиданно расхохотался.

— Ты чего? — удивился Володя.

— Едва ли мой предок, которому принадлежал этот шлем с голубым камнем, преподнес бы женщине эти маленькие цветочки...

— Пошли скорее, пока не подняли тревогу. Хотя, насколько мне известно, у вас, у осетин, мужчин никогда не крали, только женщин, — сказал Володя.

— А ты попробуй, укради осетинку, — смеясь ответил Алан.

— А почему бы и нет? Ведь посмел же ты на русской жениться. Чем я хуже тебя? Правда, у меня нет такой величественной лысины и такой кавказской талии, но я начну заниматься спортом.

Перед ними открылся лагерь. Необычайное оживление чувствовалось кругом.

— Она приехала... Это она, — заволновался Алан и побежал к машинам. Владимир едва поспевал за ним.

Ольга Кондратьевна подняла на них прищуренные в мягкой улыбке серые глаза.

— Вот они где! — сказала она и протянула Алану руку.

Алан положил на ее маленькую сухую ладонь несколько влажных синих фиалок, а в другой руке поднял шлем со сверкающим голубым камнем...

НА РАССВЕТЕ



и приподнял голову с жесткой диванной подушки, сонно поморгал глазами и, оглядев кабинет, опустил ноги на пол; торопливо встал и шагнул к окну. Толкнув раму, он сладко зевнул и сел на подоконник; протянул к себе ветку алычи, растущей под окном, и понюхал нежную коричневатопепельную веточку. Приложился губами к набухшим зеленоватым почкам, глубоко вдохнул в себя миндально-острый запах весны и, широко улыбнувшись, спрятал лицо в пахучие ветви...

Скуластое лицо Гала в редких крупных рябинках, сомкнутые тонкие губы, его подвижная фигура — все вдруг преобразилось в нем; узкие черные глаза его потеплели, и он вслух произнес: — «Рассвет, как хорошо!»

Он соскочил с подоконника, схватил кожаное кепи с вешалки, натянул на плечи синюю стеганку, направился было к двери, но вдруг взгляд его упал на телефонную трубку, и он остановился. Виновато оглядел письменный стол и, шагнув к столу, положил руку на рычаг телефона.

Не поднимая руки, он улыбнулся, потом погладил холодную черную поверхность аппарата и вслух произнес:

— Прости... Занят, родная. Пойми, курчавая, какой рассвет...

Гала, секретарь райкома, с вечера засиделся с трактористами.

Весна — самая горячая пора жизни... А ночи лунные, хоть круглые сутки с трактора не сходи...

Сейчас, на рассвете, Гала, проснувшись в кабинете, вспомнил, что вчера был день рождения его пятилетней дочери. Он обещал и дочери, и жене, что придет очень рано и целый вечер проведет с ними.

Он не мог теперь вспомнить, как уснул на диване после совещания с трактористами. Поэтому он виновато гладил холодную поверхность телефонного аппарата, представляя светлую курчавую головку дочери и обиженное лицо жены.

— Нет, сейчас им звонить невозможно (он глянул на часы, было три часа утра), они меня, наверное, с вечера долго ждали.

Он еще раз погладил холодные бока телефона, потом подошел к дивану, постоял, укоризненно ткнул кулаком его пружинные бока, дескать: «Убаюкал, подвел». На цыпочках шагнул к двери и осторожно прикрыл ее за собой, как делал каждое утро дома, боясь разбудить ребенка.

Во дворе с минуту постоял у конюшни, вывел лошадь и, легко вскинув на спину лошади свое крупное тело, выехал со двора.

За селом, у старого кладбища, он остано-

вил лошадь, посмотрел на белые развалины каменных склепов, подумал:

— Кто сказал, что смерть всесильна?.. Смерть — это старое кладбище, заросшее папоротником и клевером, а жизнь?.. Вот она жизнь, — и он окинул взором бескрайние дали темневших полей.

Брезжил прозрачный весенний рассвет. Горы, как в далеком мираже, просвечивали сквозь голубоватую дымку рассвета. Бледные редкие звезды казались нарисованными, и ущербная луна очень низко висела над взбухшими, по-весеннему темными полями.

Гала глубоко вдохнул колющий холодок горного воздуха, расстегнул стеганку, откинул со лба кепи и направил лошадь в мелководную речушку. Лошадь жадно, со свистом втягивала в себя желтоватую весеннюю воду. Гала с любопытством посмотрел, как она пьет, толкнул носком сапога теплые бока животного и, выехав на берег, соскочил, стал на колени, затем лег на грудь и приник горячими губами к холодной струе.

Встав, он потрепал лошадь по гладкой теплой морде и проговорил:

— Ишь ты, соблазнил меня, думал, вода вкусная, а она... Эх ты! А что тебе, лошади, можно понять в нашей человеческой жизни...

Он вскочил в седло и пустил лошадь галопом. Поднялся на высокий холм, и перед ним, далеко теряясь в розовой дымке утра, потянулись поля. У самого берега мелководной речушки, зеленея крашеными боками, врос в землю домик-фургон тракторной бригады. Гала привстал на стремянах, с минуту поду-

мал и повернул лошадь направо к молодежной бригаде. По черной взрыхленной земле трактор прорыл глубокие черные борозды. Лошадь споткнулась. Гала поднял голову и увидел огромное перепаханное поле...

— Что же это такое? Вчера еще здесь не было пахоты,— удивился он, сошел с лошади, взял ее под уздцы и пошел по вспаханному полю...

Тракторист в молодости, потом студент сельскохозяйственного института, Гала пришел в райком с должности участкового агронома. Весна всегда вселяла в его душу какое-то нетерпеливое беспокойство, и он не мог усидеть в кабинете. Как только на склонах холмов темнел снег, он говорил:

— Весна... эх, молодость...

И по особому, быть может, только одному ему понятному чувству, еще в февральских колючих ветрах он узнавал приближение весны. И тогда, объезжая поля, он радовался каждой темной прогалине...

У дальнего края вспаханного поля виднелся трактор. Гала привязал лошадь к грушевому дереву и напрямик пошел через поле. У низкорослой размашистой ивы, росшей у края поля, стоял трактор, врезавшись стальными лемехами в черные пласты перевороченной земли. Поодаль от машины, уткнувшись щекой в лохматую шерсть полушубка, спал долговязый юноша. Смуглая кожа на лице была «подгримирована» темными полосками от его замасленных рук.

Гала удивленно поглядел на юношу, на трактор, на взбугренную даль перепаханного

поля, над которым густой розовой пеленой плыли утренние туманы, и, широко улыбнувшись, подумал:

— Молодец какой, а... Кто же из них раньше устал: он или трактор?

Гала снял стеганку и нагнулся над спящим юношей. Под загорелой кожей на шее тепло и ровно пульсировали голубоватые жилки. Гала очень хотелось погладить эту по-детски длинную и тонкую шею юноши, но, боясь его разбудить, он осторожно прикрыл спящего стеганкой.

Секретарь райкома знал многих трактористов района, но лицо юноши ему было не знакомо. Гала с минуту постоял в раздумье над спящим и подошел к трактору. Машина была еще горячей. Пахло бензином и железом.

— Устали оба: и трактор, и он. Почему же я не знаю этого парня...

Гала положил руку на горячий радиатор, затем стянул кепку, бросил ее на землю и завел мотор. Вскочив на сидение, он любовно провел ладонью по гладкой поверхности руля. В розоватой дымке раннего утра терялись широкие дали поля... Расстегнув верхние пуговицы гимнастерки, он поудобнее уселся, озорно глянул на спящего тракториста и вслух сказал:

— Допашу, ведь у тебя чуть-чуть только осталось...

Резко зарокотал мотор. Гала шумно вдохнул бензиновый воздух, широко улыбнулся и повел трактор.

В кустах кизила пискнули потревоженные птицы. Верхушки гор порозовели, и восходя-

щее солнце золотыми нитями прошило легкую пелену тумана. Гала зажмурился от яркого света, рассмеялся и бросил солнцу:

— Опоздал, брат. Как видишь, без тебя, светило, обошлись. Без твоего света вспахали...

— Стой! Кто это? — кричал юноша, догоняя трактор.

Забежав вперед, юноша сердито выбросил руку, дескать, остановись, не твой трактор, не смей. Увидев его, Гала остановил трактор и посмотрел юноше в глаза. Они были черные, живые, с припухшими со сна веками...

— Слезай,— сердито протянул юноша, подходя к трактору.— Чего без спросу лезешь? Что тебе трактор шутка, что ли?..

— Слезу, слезу, не ругай. Вон у тебя куsocек не допахан. Шел мимо, дай думаю, пока тракторист спит, я допашу.

— Без тебя допашут... Паши свое,— сердито буркнул юноша и сел к рулю. А чей ты? Что без спроса на чужой трактор садишься?

— Я тоже тракторист,— ответил Гала.

— Тракторист...— передразнил его юноша.— Тракторист должен быть у своего трактора, а не носиться по чужому полю. Я что-то такого тракториста не встречал...

— Я тоже,— ответил Гала, скрывая улыбку. — Но хвалю. Ты настоящий тракторист.

— А на что мне твоя похвала? Вчера меня даже не позвали в райком на совещание трактористов: молод, дескать. А я назло секретарю райкома, хоть и ночь не спал, а норму стариков перекрыл...

— Секретарь похвалит,— сказал Гала.

— Похвалит... Какой там,— перебил его юноша.— Он меня даже не знает...

— А теперь обязательно узнает. Вот увидишь, узнает...

Гала тепло улыбнулся, натянул кепи и пошел к лошади.

— Стеганку забери свою, да больше не балуй! — услышал он за спиной все еще сердитый голос юноши, заглушаемый буйным рокотом трактора.

СУД



луб колхоза «Партизан» был переполнен. На двери висело маленькое объявление: «Разбирается поведение колхозницы Зои С.».

На собрание пришли и престарелые бабки, и старики, которые ходят обычно только на производственные совещания. То здесь, то там, среди старушечьих темных повязок и стариковских бешметов мелькали пионерские галстуки.

Общее внимание привлекал правый угол зала, где сидела высокая старуха с поразительно молодыми серыми глазами, а за ее стулом стояла совсем молодая женщина в белом шелковом платке, низко опущенном на лоб. Это и была Зоя.

Было странно видеть ее такой робкой, смущенной, закутанной в большой праздничный платок, в то время, как ее подруги по звену сидели в зале в легких косынках и модных платьях. Они приглушенно смеялись и делали Зое какие-то непонятные знаки.

Здесь не было никаких признаков официального суда. И все-таки это был суд. Кол-

хозное собрание судило молодую, недавно вышедшую замуж колхозницу-комсомолку Зою, звеньевую передового молодежного звена, которое уже третий год держит переходящее Красное Знамя.

В феврале она вышла замуж за колхозного бригадира, вернувшегося с войны с тремя орденами и медалями.

За что же собрание должно было судить Зою?

Стоял уже май, а Зоя не работала с февраля, хотя ее отпуск уже давно кончился.

Поддерживаемый внуком-пионером, в президиум прошел восьмидесятилетний старик Гамат. Несмотря на свои годы, он принимал активное участие во всех делах колхоза и часто говаривал:

— Пока человек жив, он должен работать.

Старого Гамата можно было видеть весной на тракторной вспашке, осенью — на ломке кукурузы, а морозной зимой — на рубке дров. Легко взмахивая тяжелым топором, он тихо напевал шуточную осетинскую песню «Тауче».

Когда старый Гамат подошел к столу, разгладил красный сатин, в зале задвигали стульями и приглушенно зашептались. Его часто выбирали в президиум, но он всегда оставался в зале, говоря:

— Ладно, пусть я числюсь, а сидеть буду здесь. Мне там трудно. — Но сегодня Гамат сам пошел на сцену, хотя президиум еще не избрали.

— Пора начинать, — шепнул председатель колхоза парторгу.

— Товарищи, — сказал парторг, — считаю

собрание колхозников колхоза «Партизан» открытым. На повестке дня у нас один вопрос: «О звеньевой второго звена Зое». Вы все ее знаете. Лучшая наша комсомолка, стахановка, три года переходящее знамя никому не отдавала. А теперь, пожалуй, придется его у нее отобрать...

При этих словах Зоя вздрогнула, как от удара, и откинула тяжелый платок со лба. Ее круглое, всегда румяное лицо стало блее платка, и она растерянно посмотрела на подруг. Потом она опустила глаза, и чувство острого стыда перед людьми, которых она знала с детства, вдруг охватило ее.

Она видела перед собой шерстяную повязку сероглазой старухи — своей свекрови. Под черной повязкой видна была тугая коса, завернутая в черный ситец. Ни один волос на голове женщины не был виден. Почувствовав на себе взгляд невестки, старуха обернулась, привычным ловким движением натянула на лоб невестки платок и проворчала:

— Полно стариков, старух, а ты выставила напоказ свои кудряшки... Срамота какая! Спрячь!

Зоя хотела было отойти от нее, но свекровь, как бы угадав ее желание, схватила ее за руку:

— Не хватало тебе еще при всем народе сесть. А может быть, ты в президиум пойдешь, сядешь рядом с Гаматом? Стой здесь!

И Зоя осталась стоять за стулом свекрови.

Серая суровая нитка висела на жилистой загорелой шее старухи. На этой нитке держался квадратный сафьяновый мешочек — тали-

сман, «предохраняющий дом от злого глаза». Зоя не раз просила мужа уговорить старуху снять этот талисман.

— Неудобно,— говорила Зоя,— она ведь хорошая колхозница, передовой человек, а носит такую чепуху.

Но муж ласково отвечал:

— Пусть носит, нам он не мешает. У нас свое, а у нее свое. Не будем обижать старуху. Мы же ее не в комсомол принимаем.

Старуха одобрила выбор сына и устроила пышную свадьбу, на которой гулял весь колхоз. Прошел месяц, кончился отпуск Зои. Утром она сняла с головы традиционный свадебный платок, озорно трянула темными кудрями, посмотрела в зеркало и повязалась яркой крепдешиновою косынкой. Оглядев еще раз свою комнату, в которой она просидела месяц, по обычаю, не имея права выходить, она распахнула окно. Был март месяц, на улице стояли легкие заморозки, и Зоя всей грудью вдохнула колючий холодок раннего утра.

Свекровь удивилась, увидев открытое окно, и поспешила в комнату. По обычаю, Зоя не имела права даже приподнять занавеску, не то что открыть окно во двор. Увидев на невестке шелковую косынку и рабочее платье, старуха нахмурила брови и строго спросила:

— Кто тебе разрешил снять свадебный наряд? Ведь тебя даже к реке еще не водили, чтоб ты могла ходить по воду.

Зоя показала на календарь и спокойно ответила:

— Отпуск мой кончился, мне надо идти в

звено. Извините, мама, я не могу больше сидеть дома.

Старуха резко оборвала ее:

— Ты не девушка, а замужняя женщина. И просить разрешения уйти надо не у председателя колхоза, а у меня. Я твоя свекровь и командовать в своем доме никаким звеньевым и бригадирам не разрешу. Ты пойдешь на работу через год, когда, по обычаю, сможешь уже показываться на людях. А пока будешь дома. Я не хочу, чтобы моя невестка, не выдержав года, как положено, ушла на работу с открытой головой и голыми локтями.

Старуха прикрыла окно, сняла с невестки легкую косынку и накинула ей на голову большой платок. Зоя на работу не вышла. Поджав под себя ноги, она весь день просидела в углу дивана. К ней приходили подруги, звали на работу, но старуха встретила их неласковым взглядом, и они ушли.

— Глупости,— говорили они,— она сама, наверное, придерживается обычая, иначе, кто ей может запретить? Поставим вопрос на бюро, пусть она объяснит...

Вечером она со слезами рассказала обо всем мужу. Он смущенно помолчал, потом сказал робко:

— Ты пойми, я не могу ее сейчас переубедить. Побудь еще месяц дома, она поймет, что больше ты не можешь сидеть без дела. Эх, нужна ты мне сейчас в бригаде до зарезу...

Сейчас, на собрании, он почему-то тоже смущенно молчит, не смея обвинить мать и не решаясь защитить жену.

— Говори, Зоя, рассказывай в чем дело, --- раздался голос из зала.

Свекровь сжала кисть ее маленькой полной руки, но Зоя вырвала руку и вышла вперед. Она оглядела зал, заметила ободряющие взгляды мужа и подруг и неожиданно закрыла лицо руками.

— Говори, говори, не стесняйся...

Старуха не выдержала. Она поднялась, заклонив собой невестку, и громко на весь зал сказала:

— То-есть, как это — не стесняйся? Вы хотите, чтоб она говорила при всем селе, при стариках? Вот сидит старик Гамат, мой родственник по мужу, — виданное ли дело, чтобы она говорила при нем и при таких, как он... Я запрещаю...

В зале задвигались, возмущенно зашумели. Председатель зазвонил в колокольчик. И тут произошло неожиданное.

— Садись! — крикнул Гамат старухе.

Он прошел по сцене и спустился в зал.

Наступило напряженное молчание. Гамат подошел к Зое, взял ее за руку и повел за собой на сцену.

Напряжение нарастало.

На сцене старик снял с Зои традиционный свадебный платок, скомкал его и бросил в зал.

Лопнула напряженная тишина, в зале громко зааплодировали, пионеры что-то кричали. Председатель тщетно звонил в колокольчик.

А Гамат усадил Зою на свое место. Сам он вышел вперед и заговорил твердым голосом:

— Прошу вас, не вините эту женщину,— и он показал в угол, где сидела свекровь Зои.— Не обвиняйте, а простите ее. Темнота, в которой она прожила шестьдесят лет, до сих пор заволакивает ей глаза и не дает свободно вздохнуть.— И, обращаясь к Зое, он сказал:— А ты никогда не закрывай от солнца свои волосы, слышишь: никогда!.. Без крыльев, без надежд жили ваши отцы и матери — не вините их, а учите, пусть хоть на старости лет погреют они свои седые космы под нашим счастливым солнцем...

Он оглянулся, поднял глаза на портрет Ленина и вытер подолом бешмета влажные глаза. Потом подошел к Зое, погладил ее по голове и, обращаясь к президиуму, смущенно проговорил:

— Простите, я у вас, кажется, время отнял напрасно...

— Нет, Гамат, не напрасно,— сказал парт-орг, протягивая Зое обе руки,— совсем не напрасно. Собрание считаю закрытым...

ДВЕ МАТЕРИ



вестибюле гостиницы «Москва» Зарифа взяла мать за руку, как берут детей, и повела ее к лифту.

— Что это? — едва успела прошептать мать. Но двери лифта захлопнулись, мать покачнулась, оперлась о плечо дочери и снова спросила:

— Что это?

Дочь нагнулась к уху матери и ответила:

— Лестница...

Мать недоуменно повела плечами, думая возразить дочери, но лифт остановился, двери открылись, и дочь снова взяла мать за руку и повела ее по бархату ковра к себе в номер.

— Какой дом большой, как целое село, — робко прошептала мать, удивляясь тому, что дочь ее идет по этим нарядным широким коридорам привычно, будто родилась, росла и жила здесь.

В номере мать ходила с тихой опаской, будто боялась разбудить спящего ребенка. Загорелыми руками она погладила бархат гардин, провела ладонью по лакированному трельяжу и присела на край дивана.

— Ты сядь... Сядь, как следует, не стесняясь,— сказала дочь и легко передвинула маленькое тело матери в глубину дивана. Сняла с нее туфли и подала ей стакан шипящего нарзана.

— Отдыхай,— улыбнулась дочь и поправила седую прядь, выбившуюся из-под платка матери.

Не помнила мать, сколько она проспала, но, проснувшись, увидела, что дочь была не одна. Пожилая женщина с пушистой седой прической, в черном платье, сидела у рояля, перебирая клавиши. Зарифа стояла около нее. Мать не сразу узнала дочь. Черные косы ее были уложены на голове высокой короной. На ней было длинное белое платье, грудь и рукава которого унизаны маленькими серебряными звездами.

Пожилая женщина и дочь о чем-то говорили. Они то улыбались, то снова делались серьезными. Мать не могла понять ни одного слова. Говорили по-русски.

«О чем они говорят?» — подумала мать, не спуская с дочери восхищенных глаз. И непонятная ей самой, щемящая душу боль прошла по всему ее телу, и мать заплакала. Закрыла глаза и уткнула голову в подушку. Сквозь полужакрытые веки мать видела, что они продолжали о чем-то тихо беседовать... Она силилась понять из их разговора хоть одно слово, но не могла. Мать понимала когда-то детский лепет своей дочери. Нагибаясь над ее кроватью, она по дыханию определяла, здорова девочка или нет. Подростком Зарифа была молчалива и упряма, но в упорном молчании дочери все

равно мать всегда отгадывала мысли ее, однако сейчас она не понимала ни одного слова из разговора двух женщин.

Вдруг седая женщина улыбнулась Зарифе, взяла ее голову и поцеловала в обе щеки. И мать увидела в глазах этой женщины ту необъяснимую теплоту и любовь, которую может увидеть только мать. Затаив дыхание, мать смотрела на них и думала:

«За что эта чужая женщина любит мою дочь? Что моя дочь могла ей сделать в жизни хорошего?»

Женщина снова под села к роялю, взяла один аккорд, другой... Посмотрела на Зарифу, улыбнулась ей, кивнула головой.

Мать не смела пошевелиться. Сердце ее забилося. Точно так же улыбалась и кивала головой мать когда-то давно, когда маленькими немощными ножками Зарифа впервые делала робкие детские шаги... Тогда мать, желая научить маленькое существо ходить, улыбалась ей, кивала головой, протягивая навстречу руки. Ребенок смеялся, делал несколько шагов и кидался в объятия матери...

Пожилая женщина снова улыбнулась, подняла правую руку, протянув ее Зарифе, кивнула ей головой, и обе засмеялись... Потом дочь ее стала совсем-совсем серьезной, взяла в руки маленький ажурный платочек, помяла его между пальцами, и, как показалось матери, лицо дочери чуть побледнело.

Седая женщина нагнулась к роялю. Белые ее руки вспорхнули над клавишами... Зарифа запела...

Не о том скорблю, подруженьки,
Я горюю не о том,
Что мне жалко воли девицей,
Что оставлю отчий дом...
Нас постигло лютое горе,
Убила черная судьба...
Нет, не придет домой бедный
Родитель мой...

Дочь пела... Мать повернулась на правый бок и полузакрыла глаза. Снова она не понимала из песни дочери ни одного слова, только сердце матери билось сильнее. Песня будила в душе горестные воспоминания. Тоска в голосе дочери, печальный взгляд ее глаз, бледное ее лицо, казалось, говорили матери: «Смотри на меня, родная, смотри на меня, яснозвездную, это я потому сегодня такая, только потому, что пути к сегодняшним звездным дням политы слезами горячими, залиты алой кровью веков, исхожены вдоль и поперек той песней крылатой, что будила души, не давала им уснуть»...

Мать и дочь встретились глазами, но дочь продолжала петь. Руки седой женщины бегали по клавишам, мелькая белыми птицами, она немного откинулась на спинку стула и, чуть побледневшая, смотрела на Зарифу...

Высокая, тоненькая, с глазами, похожими на южную ночь, Зарифа пела арию Антониды... Ей была понятна печаль Антониды... В сорок втором году у нее на глазах был повешен фашистами старый отец, приютивший когда-то у себя во Владикавказе Кирова; отступая через Мамисонский перевал, отец вел под уздцы лошадь Кирова... В мерзлых снегах перевала он вел эту лошадь бережно и креп-

ко, будто на спине этой лошади была судьба его родины, большая жизнь его детей...

Седая женщина еще раз провела по клавишам, будто погладила блестящую эмаль, молодо тряхнула головой и сразу встала.

— Хорошо, родная, очень хорошо. Завтра ты споешь еще лучше, я уверена... ведь тебя будут слушать делегаты сессии, не то что я... — засмеялась женщина и оглядела блестящий наряд своей ученицы.

— А я все-таки волнуюсь... Будет секретарь нашего обкома, председатель нашего Верховного Совета, будет много-много наших осетин...

— Вот потому и должна ты лучше спеть, показать, чему за пять лет научила тебя московская консерватория, а то нам будет стыдно.

Голубые глаза женщины потеплели, и, посмотрев Зарифе в лицо, она сказала:

— Споешь, хорошо споешь... Ты не можешь спеть плохо. Ты смотри, не посрами меня, а то в гости к тебе в Осетию не приеду.

Женщина вздохнула и тихо сказала:

— Через пять месяцев ты окончишь, уедешь к себе. У себя в горах, на родной земле еще ярче будет звучать твой голос. Вспоминай иногда меня, твоего седого профессора... — Ну, пока, пойду... Послушаю, как там мои другие. До завтра...

Зарифа хотела сказать ей много таких слов, которых она никогда никому еще не говорила, но седая женщина, не подавая ей руки, а просто кивнув головой, сразу же вышла из комнаты.

— Кто эта женщина? — спросила мать, когда они остались вдвоем.

Но дочь не ответила на вопрос. Она подошла к зеркалу, оглядела свой наряд, погасила в комнате свет и широко распахнула окно... Ворвался шум улицы. Дрожащим светом залилась комната.

Зарифа взяла мать за руку и подвела ее к окну... Звездными огнями переливалась ночная Москва.

— Кто эта женщина? — повторила Зарифа и обняла мать за голову. Потом села на подоконник, мать положила ей руку на колено, дожидаясь ответа, но дочь вместо ответа, глядя на сверкающий ночной город, тихо запела:

Я не знаю, чрез какие реки,
По каким пройду еще местам,
Только знаю, что тебя вовеки
Никому в обиду я не дам...

ПОМОЩНИК



кна большой комнаты раскрыты настежь. Желтые веники электрического света пробили яркие тропинки в ночном саду. С вечера длится заседание правления колхоза «Социализм».

Председатель колхоза, невысокая тоненькая женщина с черной головой и белыми висками, подошла к окну, глянула в ночь и сказала:

— Бросьте говорить о себе, о своих неудобствах...

Бригадир первой бригады, к которому относились эти слова, горячо возразил председателю:

— Что я у бога корову украл... Из года в год эти холмы достаются мне, моей бригаде... Весной на них трактор застревает, летом их комбайн не берет... Работа наша потом пахнет, не то, что другие на комбайне...

— Зато таких урожаев ни одна низина не дает, почва — что сметана... — бросил второй бригадир.

— Что же тогда не идешь мою сметану

хлебать? — со злобной иронией ответил первый. — Попробуй... Поползай там, когда дожди.

— Когда урожай собирать — твои холмы все рекорды забивают, — убеждающе повторил свою мысль второй.

— Действительно, таких урожаев ни с одного участка не собираем, как с твоих холмов, — поддержала председатель колхоза второго бригадира.

— Я вечно после всех докладываю... Другие уже в закрома зерно ссыпали, а я еще верхом на серпе...

— Так учитывается же бригаде и то, что вы на серпе верхом сидите, а не на комбайне, — нервничая, перебила его председатель.

— Учитывается... Учитывается, — проворчал он. — Моя бригада тоже хочет плевать на ладони и посвистывать около комбайна... Плюс ко всему у меня в бригаде не комсомольцы... Моим комсомольцам по сорок да по шестьдесят лет. Поделите холмы между остальными бригадами, — потребовал он.

— Оставлю как есть — не поделю... В конце концов ты же не на футбольное поле выходишь состязаться... Что холмы, что низины — все в один карман идет... Как же моя бригада в годы войны не бросала никому эти холмы — «на, дескать, возьми, мне трудно», — сжав пальцы в кулачок, недовольно проговорила председатель.

— Тогда все вручную работали, — возразил он ей. — Потом меня то время не касается, я на фронте был — воевал, — горделиво бросил он ей.

— А я... мы по-твоему не воевали? — дрогнув тонкими щеками, спросила она.

— Воевали... Воевали, ладно. Ты на этих холмах «Ленина» заработала, знаю, чем гордишься... «Ты, дескать, с фронта с медалями пришел, а я в тылу — «Ленина» ношу». Известно, упрямая ты, посылай, куда хочешь...

— Что-о-о? — задохнулась она и вышла из-за стола.

— Анна,— произнес старческий голос.— Садись, я скажу вместо тебя...— (Председателя колхоза все звали по имени, просто «Анна»).— Надоело его слушать, послушайте и меня.

Старик вышел вперед и, ни на кого не глядя, будто он говорил вслух сам с собой, промолвил:

— Не хочет бригадир на холмы, боится... Переведем его на комбайн... а меня туда... Я пойду бригадиром на холмы,— гордо сказал старик.— Мне переходящего знамени не надо.— Он сделал паузу, оглядел всех присутствующих и продолжал: — Я из гордости пойду туда... Когда-то юношей, как временно-проживающий я был выгнан помещиком с этих холмов... Теперь они наши... мои.— Я пятьдесят лет волочил там чужой плуг... Свой плуг, конечно, потащу... Меня пошли, Анна,— тоном приказа закончил старик и пошел к двери. Остановился, оглянулся и промолвил потцовски...

— Ночь уже далеко ушла, не томи народ, Анна, закрой собрание.— И, не дожидаясь, что решит народ, старик распахнул дверь. В открытую дверь пахнуло душистым сквозняком

летней ночи. Оглянувшись с порога, он обратился к Анне:

— В годы войны мое звено всегда было с тобой, хотя ты была тогда не с таким большим правом, как сейчас... Пошли меня.

— Пошлю,— бросила она ему через головы сидящих и, обратившись к собранию, сказала:

— Все... Начинаем завтра уборку...— Она встала, погасила свет и последняя вышла из комнаты.

По притихшим улицам ночного села Анна шла медленно, глубоко вдыхая запах влажной травы.

«Смотри-ка, какой...»— с нежностью и признательностью думала она о старом звеньевом Хамате, который в трудные годы войны был ей большой опорой.

«А бригадир...— усмехнулась она.— Ничего, проспится и сам придет, он ревнивый до своих холмов, упрям... тщеславен, но крепок в работе... Золотые холмы... Такие земли ни в засуху, ни в дождь не подведут».

Устало бродили в ее голове воспоминания минувшего дня. Он прошел удачно — завтра начало уборки... Сделано все, ничего не забыто, и все же где-то в глубине ее души, свернутой комочком, лежала тревога и портила ей настроение.

Она подошла к своим воротам, остановилась... Тревожный комочек, мешавший ей, вырвался вдруг наружу — она вспомнила, что утром обещала сыну прийти раньше и пойти с ним в кино.

«Опять обманула его. Опять ждал, ждал,

наверное, и уснул нераздетый на сундуке», — с тревожной болью в душе подумала она и торопливо вошла во двор.

В низеньких окнах ее домика было темно. Она приникла лбом к холодному сухому стеклу:

— Уснул, конечно...

Опустилась на скамью под кустами сирени, расстегнула жакет и задумалась... Над нею висело темное небо в редких звездах. Ночь была теплая, спокойная, тихая...

И вспомнилась Анне другая ночь... С тех пор прошло уже десять лет... Тогда ей было двадцать пять лет и на голове не было седины...

В одно утро председатель колхоза вызвал к себе в кабинет рядовую колхозницу Анну и сказал:

— Принимай, Анна, бригаду на холмах... Не спрашивай ни о чем и не говори, что не можешь... Сейчас все делают непосильное... Война...

Анна хотела сказать, что у нее трехлетний сын и параличный муж, который не может обходиться без ее помощи, но председатель молча указал ей на дверь и промолвил:

— Иди, принимай, поезжай сопровождать красноармейские подводы на холмы, покажи им твой стога... Сено на твоём участке...

«Твой стога», «Сено на твоём участке». Эти слова будто сковали Анне язык, и она, ничего не сказав, вышла из кабинета. И с этого дня кончились ее «бабьи» волнения и начались «мужские» тревоги, и дивились подружки ее сноровке и неустанному упорству...

В маленьком доме, прикурнув у холодной печки, в ту ночь нетерпеливо ждали ее параличный муж и сын. Когда она поздно, «со вторыми петухами», вошла во двор, навстречу ей, жалобно мыча, вышла недоенная корова. Перешагнула порог комнаты, но муж впервые не поднял с тахты трясущейся головы и не улыбнулся ей беспомощной, но радостной улыбкой. Она виновато стояла посреди комнаты. Спал на сундуке нераздетый ребенок. Холодный ужин мужа был не тронут. Засучив рукава, она вышла во двор.

В глухой тишине осенней ночи долго стучал топор и допоздна тлел огонек в ее окошке. Надо было постирать, пошить и приготовить...

Утром, уходя на работу, она подошла к мужу, ласково положила ему руку на дергающееся плечо и сквозь слезы произнесла:

— Не дуйся, не на гулянки хожу, не до того сейчас людям... Столько горя кругом: что ни день, так извещение о смерти... Страшно мне — немец в Ростове... Мужчин в колхозе не осталось. Говорит председатель, чтобы я приняла бригаду...

— А может, в се-кре-та-ри рай-кома пойдешь? — визгливо протянул муж, закашлялся и затрясся.

— Не кричи,— тихо молвила она, побледнев.— Выберут, и в секретари пойду. Сейчас все непосильное делают.— Она повязала голову и пошла не оглядываясь. С порога произнесла:

— Не жди... Поздно приду... Еда на плите.

И проходил ее день в непривычных для

женщины хлопотах... Трудно было, страшно. А потом война пришла и в ее дом. Железным скрежетом, кровавым стоном ворвалась война и на ее холмы. И казалось ей, что не только люди, но и земля прижалась к подножьям гор, к непроходимым тропам...

Село погрузилось в страшное одиночество... И впервые она ощутила щемящую тоску по той жизни, которую утратила, которую делала сама, не доедая и не досыпая, по тому счастью, за которое бились деды и отцы, за ту радость, которую получили дети... Разве можно отдать эту жизнь, бросить или доверить злым рукам?..

И металась Анна в тоске, кутая больного мужа, прижимая маленького сына к груди... Но боролась. Параличный муж у нее на глазах для потехи был застрелен фашистами. С того часа еще крепче убедилась она, что правда только на ее земле и за эту правду надо бороться...

Мальчик с Анной уцелели... Так бывает в бурю... Ломаются столетние дубы. Ураган выплескивает целые моря, но остается жить на корню тоненькая былиночка где-нибудь в затишке... Эти годы ей кажутся кошмарным сном...

Теперь она председатель укрупненного колхоза — нет у нее времени сидеть. Жизнь зовет вперед... Пропел где-то над ее головой петух. Анна вздрогнула, встала и вошла в комнату.

В темноте она остановилась и прислушалась. Она любила слушать сонное теплое дыхание сына. В комнате было тихо. Она шагну-

ла к сундуку, пошарила руками—никого. Шагнула к кровати — кровать была пустой.

«Где он?» — Тревожно стукнуло сердце матери, и она включила свет. «Позвонить в школу», — было первой ее мыслью, но, подняв телефонную трубку, она поняла, что в это время в школе нет никого. «Может быть, в клубе? Я обещала ему... Но сеанс давно кончился. Где же он?» — тревожно подумала она и заходила по комнате.

«Пойду его искать», — и досадуя то на себя, то на сына, то на несговорчивого бригадира, который затянул собрание, Анна накинула на плечи платок и вышла во двор.

«К вожатому пойду, спрошу... он тоже обязан... Ну, а если мать занята, должна же школа... Вожатый должен внушать»...

Она открыла калитку на улицу и столкнулась с сыном. Увидев его, она облегченно вздохнула, но затем строго произнесла:

— Что это за поздняя экскурсия? Кино в клубе давно кончилось... Где это видано, час ночи — тебя нет... Погоди вот... — горячась говорила она.

— Я не был в кино, — виновато ответил мальчик, проходя впереди матери.

— Тогда где ты был? — возмутилась она.

— В школе...

— Ты не врешь... Ты не был в школе, не разрешено вам после восьми часов оставаться в школе, притом уже каникулы... — продолжала возмущаться она, входя в комнату.

Анна бросила платок на сундук и устало опустилась на стул.

— Ну?.. — спросила она сына побледнев-

шими губами.— Пионер называется... Ученик шестого класса... Вместо помощи — ты заставляешь меня нервничать... Ты ведь хорошо знаешь, какое у меня сейчас время... Целый день, ночи напролет придется быть в поле... А тут думай о тебе...— В голосе матери звучала досада и обида.

— Честное пионерское, мама...— перебил он ее.— Я был в школе...

— Не говори глупости... Я позвоню сейчас твоему директору, не постесняюсь его в такую пору разбудить...— Мать положила руку на трубку.

— Не звони, мама... Директор не знает...— со слезами в голосе взмолился мальчик.

— Вот как... Директор не знает... Что же ты такое делал для школы, что директор не знает... Чтоб мои колхозники работали до часу ночи, а я б не знала... Не клевети на директора...

— Мама...— пытался он возразить, но она поднялась и тоном, не допускающим возражения, сказала: — Молчи, пожалуйста, я не хочу тебя слушать... Ты говоришь неправду... Я сама узнаю завтра, а сейчас ложись... Ты ужинал?..

— Да,— прошептал он обидчиво, подошел к кровати, стянул с плеч клетчатую ковбойку, вытащил из кармана брюк свернутую в трубку тетрадь и сунул под подушку. Лег, натянул на голову одеяло. Взгляд матери упал на кастрюлю. Она подняла крышку: ужин мальчика был цел.

— Говорю же я, что ты обманываешь

меня,— с возрастающим возмущением вскричала она.— Ты же не ужинал... Почему?..

Мать подошла к кровати и сдернула с его плеч одеяло. Мальчик бесшумно, но горько плакал, слезы обиды душили его, и он не мог говорить.

— Еще этого не хватало... Я как мать имею право спросить у тебя, где ты был... Я обязана знать, где ты бываешь... Ты что ждешь, когда я попрошу у тебя прощения?

Мальчик продолжал плакать, не умея ничего ответить. Мать выхватила из-под подушки свернутую тетрадку и нервно перелистала ее.

На первой странице тетради (тетрадь была новая) шатким детским почерком, рукой ее сына, аккуратно было выведено:

«18 июнь. Общий сбор пионерского отряда № 4, школы № 2.

Слушали: О зверствах... доклад вожатого.... Постановили»...

Что постановил отряд — неизвестно. Только двумя строками ниже почерком более уверенным было написано:

«Солдат войск ООН! Находясь в Корее, в этих диких горах и лесах, ты защищаешь великую честь всех наций, преграждаешь путь коммунизму из Азии за океан... Война идет жестокая, и ты должен во имя спасения своей жизни убивать как можно больше азиатов. Рука твоя не должна дрожать, если перед тобой даже мальчик, девочка или старик. Убивай! Этим ты спасешь себя от гибели и выполнишь долг солдата ООН».

Анна, как вкопанная, стояла у кровати сы-

на, позабыв обо всем... Слово «убивай», казалось ей, сейчас оживет и завоюет тревожной сиреной, и наступит снова в ее жизни то страшное одиночество, что в 25 лет сделало ее седой.

«Убивай,— прочла она снова.— Рука твоя не должна дрожать, если перед тобой даже мальчик...»

Она инстинктивно опустилась на колени перед кроватью сына и обняла его за плечи, будто защищая от чего-то страшного...

Мать знала, что сын ее — председатель совета отряда, бывает на пионерских сборах. Она не мешала ему, только говорила: «Покушай, потом пойдешь».

— Мальчик мой,— прошептала Анна, прижимаясь щекой к щеке сына,— мой мальчик... Я всегда так занята... Прости,— неожиданно сорвалось с ее губ.

— Я не соврал тебе, мама,— прошептал мальчик и прижался к матери.— Вожатый говорил... Про Корею говорил... Говорил, что...

Мальчик посмотрел матери в лицо и запнулся. Мать плакала. Указательным пальцем сын раздавил на ее щеке крупную прозрачную слезу...

— Завтра утром,— улыбаясь и плача, говорила она,— пойдешь со мной в первую бригаду и расскажешь о вашем собрании, расскажешь, что говорил вам вожатый... Тогда... помощник ты мой,— произнесла она ласково,— мои бригадиры не будут спорить о том, кому работать на холмах, а кому — на комбайне.

— Хорошо,— радостно согласился мальчик,— расскажу...

— А потом,— перебила его мать,— ты перепишешь начисто свой протокол от 18 июня и под словом «Постановили» напишешь, что твой отряд будет помогать первой бригаде на холмах... На наших холмах, в этих горах и лесах, помни, мальчик мой, никогда не должна больше ступать нога смерти...

— Спи... Закрой глаза,— шептала она.— Спи, ночь ушла уже далеко...

Мальчик засыпал. Она осторожно выскобдилась от его рук и погасила свет. Рассветало. Бледнели звезды на небе. Предрассветный ветер приносил с холмов запах созревшего колоса и бодрящие звуки жизни.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ



I

Когда стрелковое подразделение старшины Алексея Уртаева вошло в немецкую деревню Бурно, был май месяц. Дождь только что прошел, и его крупные капли густым жемчугом висели на ветках деревьев.

Хотя канонада войны уже утихла и был объявлен мир, земля все еще лежала поруганная. Искалеченная гусеницами танков, вывороченная бомбами, опутанная ржавой проволокой, она дымилась еще кровью незаживших ран. Однако жизнь уже пробуждалась. Воробей чирикнул на ветке дерева. Муравей хозяйственно сновал, строя себе новый дом. Из-под развалин забора, приютившись за осколком снаряда, ажурной желтой головкой качал одуванчик.

Небольшой крестьянский домик на окраине деревни, в котором расположилось на ночлег подразделение старшины Уртаева, был пуст и холоден. В настежь раскрытые двери со стороны врвался сквозняк, вызывая в сердцах солдат томительную тоску о родной земле и теплом доме...

Война всегда врывается в жизнь со сто-

ном. Срывает двери с петель. Гасит в окнах свет. Тушит огонь в очагах. Замолкает звонкий смех детей, и лица покрываются морщинами старости. Матери седеют за одну ночь, недоуменный испуг и упрек застывают в глазах стариков...

Утомленные долгим переходом, солдаты уткнулись головами друг в друга и тепло дышали. Не спали только старшина Уртаев и комсорг подразделения сержант Сорокин. Они прошли бок о бок нелегкий путь от Моздока до немецкой деревни Бурно. В минуты короткого отдыха старшина и сержант поведали друг другу много дорогих тайн.

Уртаев рассказывал о родном городе Орджоникидзе, а Сорокин о Моздоке, где он родился и окончил десятилетку...

— Ложитесь, товарищ старшина, я подежурю...

— Нельзя, вдруг кто из начальства заглянет, неудобно,— возразил старшина и положил на стол буханку хлеба.

— Кушай,— обратился он к Сорокину, но сержант, поглядев на хлеб, вожделенно сказал: — К нему бы горячего чаю...

Оба, старшина и сержант, одновременно глянули в угол, на разрушенную печку, и замолчали. Старшина подсел к столу, потянулся и в изнеможении опустил голову на стол.

Неповторимо-сладки доли секунды, когда смертельно усталый человек, смежив ресницы, спит бодрствуя. Как отзвук далекого эха дошел до сознания старшины голос товарища.

— Смотрите, товарищ старшина... ребен-

нок... девочка... Но старшина не мог открыть глаз, хотя приподнял голову.

В дверях стояла девочка лет... Трудно было определить возраст. Ее маленькое личико было сморщено, под глазами висели прозрачные серые мешки. Волосы, как грязная пакля на старой кукле, торчали во все стороны. Какая-то серая тряпка, наподобие халата, прикрывала ее грязное тело.

Уртаев, еле преодолевая сон, поднял, наконец, голову и, не открывая глаз, пробормотал:

— Что? Какая девочка?..

Сержант Сорокин молча шагнул к старшине и, толкнув его в плечо, прошептал:

— Девочка, товарищ старшина, смотрите, вот...

Уртаев нехотя поднялся, ознобно повел плечами, открыл глаза. Увидев у порога неподвижно стоявшего ребенка, он шагнул к нему. Но в это время девочка отделилась от двери и пошла вперед. Она приблизилась к столу и остановившимся взглядом уставилась на хлеб.

— Голодная,— прошептал сержант.

Старшина тяжело опустился на свое место. Девочка подняла худую грязную руку и погладила хлеб...

— Быстро, сержант, разогреть чайник...

Старшина схватил девочку, посадил ее на колени и разрезал буханку хлеба пополам.

— Кушай, сейчас тебя чаем напоим,— смущенно промолвил он и большой теплой ладонью погладил холодные щеки девочки.

Через полчаса старшина и сержант при-

служивали маленькой гостье, угощая ее горячим сладким чаем.

— Вот, брат, когда мне немецкий язык понадобился,— с досадой проговорил старшина.— В институте мне этот язык не давался... Как с ней разговаривать, сидим, будто немые... А впрочем, она у нас сейчас заговорит...

Старшина расправил хрустящую, из-под галет, бумагу и, обняв девочку левой рукой, правой — принялся рисовать.

Домик. Кружевная струя дыма над трубой. Вокруг домика — деревья. Ромашки непропорциональной величины...

— Вот видишь,— пририсовав к ромашке собачку,— молвил старшина.— А это, вот — зайчик, ушки, вон какие...

Старшина, глянув на сержанта, смутился и спросил:

— А может, у немецких зайцев ушки короткие?

— Не знаю, как ушки, товарищ старшина, а ножки у немецких зайцев теперь короткие...

Оба засмеялись. Сержант посмотрел на девочку и сказал:

— А дети — везде одинаковые.

Девочка вдруг перестала жевать, вытянула шею, и старушечье лицо ее улыбнулось. Она повела грязным пальчиком по зайчику и снова продолжала жевать.

— Ее бы, товарищ старшина, русским буквам научить,— проговорил сержант, подсаживаясь к столу.

— А ну, смотри, Гертруда (сержант всех немецких женщин называл Гертрудами), вот какая наша буква. Он вывел букву «А».

— Отчего же, можно научить,— весело сказал старшина, отобрав у сержанта карандаш.

Большими красивыми буквами старшина вывел перед девочкой слово «Ленин». Но девочка молча продолжала жевать, прижавшись к широкой груди старшины.

— Эх ты,— досадливо молвил он,— мала, ничего не понимаешь. Запоминай наши русские слова...

— Да,— вставил сержант,— верно. От того, как они воспримут наши слова, будет зависеть вся их дальнейшая жизнь...

— Жизнь... Жизнь,— повторил старшина, выводя перед девочкой слово «Жизнь»...

— Не смогу,— огорченно промолвил он.— Немецкого языка не знаю, а то бы я им вколотил русскую азбуку.

За таким занятием застал майор Сазонов своих подчиненных. Делая ночную поверку подразделений, майор вошел в комнату. Увидя старшину с ребенком на коленях, он нахмурил рыжие кустистые брови и громко сказал:

— Поздравляю вас, старшина, с прибавкой в семье...

Старшина стремительно опустил девочку на пол, вытянулся перед командиром полка и отрапортовал:

— Товарищ майор, первый взвод пятой роты расположился на ночлег, старшина роты Уртаев.

— Плохо расположился, товарищ старшина,— буркнул майор недовольно, разглядывая вповалку спящих солдат. И, поглядев на

стол, с упреком добавил: — Зайчиков рисуете, а взвод у вас... вон на кого похож?..

— Да вот, девочка, товарищ майор, — виновато промолвил старшина, — жует целый вечер...

— Одно другому не мешает, — перебил майор, — до утра взводу высушиться, поужинать, ну и, конечно, выспаться...

Собираясь уходить, майор, пряча в глазах ласку, спросил:

— Ну, а куда же девочку девать будете, учитель?

— Не знаю, товарищ майор, деревня пустая...

— С собой берите, — и, поглядев на стол, на рисунки, на старшину, майор дрогнул рыжими бровями и сказал: — Однако же, старшина, не завидую вашим ученикам... Придирчивый вы учитель... Я не забыл историю с батальонной газетой...

— По долгу службы, товарищ майор... Батальонная газета — и вдруг грамматические ошибки. Я ведь преподаватель русского языка. Хотя сам я не русский, но язык этот знаю. Люблю грамотное письмо. Русский язык, уж если его полюбишь, да еще познаешь — все равно, что кругосветное путешествие... Ну, а перед вами я, конечно, виноват, товарищ майор, простите. По долгу службы... За плохую газету ведь редактора ругают.

— Ну, мы с вами, товарищ старшина, как говорят, квиты... Вы мою статью из-за грамматических ошибок обругали, а я вас, так сказать, с редактора да на старшину подразделения... Я тоже, товарищ Уртаев, по долгу

службы сразу понял, что старшина из вас наилучший выйдет. Требовательность — первое качество командира... Ну, отдыхайте. Кто старое помянет, тому глаз вон. Скоро домой, тогда и закрутите свою грамматику...

— Да, обратно в школу..., — подтвердил старшина, провожая командира полка. — Вот кончилась война... трудно поверить, сколь она была тяжела...

— А впереди думаешь легко? — незаметно перешел майор на «ты» и шагнул через порог.

Голубым серебром отливала лунная ночь. В раздвинувшемся весеннем небе тепло дрожали звезды. Плыла тишина над чужой деревней. В отдалении сверкали желтые мелькающие огни...

— Машины с зажженными фарами, — радостно сказал майор.

— Горестно за тех, кто не дожил до этих огней... Жизнь победила смерть... Иначе и быть не могло, — грустно прошептал майор и потянулся рукой к сиреневому кусту. Он сорвал набухшую от дождя ветку сирени и приложился губами к ароматному холоду бледного цветка.

II

— Я понимаю, товарищи, что вам не легко. Учеба без отрыва от производства — необычная учеба, она требует перенапряжения сил... — говорил Алексей Уртаев, преподаватель русского языка вечерней школы.

Класс внимательно слушал его. Ученики, действительно, были необычные... Одни с седыми висками, иные с легким пухом первый

раз пробившихся усов. Самому младшему из учеников было не менее восемнадцати лет.

— Люди вы взрослые,— продолжал он, держа в руках тетрадь. И получать двойки вам не к лицу... Извините, не позволю. Вас сюда послали с заводов, фабрик и послали как лучших... Мне вас доверили, на меня надеются. Нет, нет, двойку по русскому языку я даже самому лучшему стахановцу не прощу. Я понимаю, что вы сейчас думаете. Правильно, война в свое время вам помешала учиться, а сейчас вы обязаны наверстать упущенное, иначе, где же культура, о которой мы каждый день говорим? Вот вы, товарищ Синельников, идите-ка к доске.

Поднялся молодой рабочий. Слегка сутулясь, смущаясь своего высокого роста, он оглядел класс и сказал:

— Ладно, Алексей Петрович, хватит говорить обо мне, я того и сам не стою, виноват. Исправлюсь. Вроде знаю правила, а до письма дойдешь...— юноша недоуменно повел плечами.

— Значит, не всю силу отдаешь,— прервал его Уртаев.

— Всю силу? — усмехнулся Синельников.— Всю силу русскому языку отдать, а в цехе кто за меня работать будет?

— Если человек захочет сделать что-либо от всего сердца, он этого обязательно добьется,— недовольный ответом Синельникова бросил Уртаев и после минутного раздумья продолжал:

— Вот был со мной в войну такой случай.— Он не любил рассказывать о войне, но

тут не удержался.— Попалась нам девочка лет восьми, беспризорная... Возили мы ее с собой месяца три, пока в детский дом не сдали. Так я ее за это время русской азбуке научил. Да, да,— утвердительно воскликнул Уртаев, хотя ему никто и не возражал.— Это потому, что я очень хотел научить читать немецкую девочку, а вы мне, товарищ Синельников, говорите о вашем цехе... На войне тоже бывало всякое... Возьмите вот записку и передайте — кто у вас там главный, директор, начальник? Пусть придет на собрание.

— А при чем тут мой директор? Что он мне мать, на собрание ходить... Думаете, что ему больше делать нечего, как за моей двойкой бегать?

— В данном случае ваш директор больше подойдет для нашего родительского собрания, чем ваша мама... Она в свое время ходила, с нее хватит. И вообще, товарищ Синельников, не указывайте, как мне поступать. По долгу службы, как директор школы и преподаватель русского языка, я имею право вызывать, кого нахожу необходимым... Это мое законное право,— сурово сказал он, сел к столу и протянул Синельникову мел.

— Пишите предложение и разберите его по частям речи...

Синельников молча стал у доски. Уртаев, глядя на юношу, четко произнес:

— «Да будь я и негром преклонных годов, и то без унынья и лени я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин».

Сорок учеников — юных, седых, с заводов, фабрик и учреждений,— наклонив головы, со-

средоточенно, с легким шорохом водили ручками по бумаге.

— «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин»,— повторил учитель, встал и подошел к окну.

В раскрытые окна приглушенно доносился вечерний гул города. Был май месяц. Шла восьмая мирная весна по родной земле старшины Уртаева. В переливах ярких городских огней жидким золотом дрожали листья каштанов и акаций. Далеко осталась немецкая деревня Бурно. Ушла она из памяти старшины Уртаева. Но как бывает летним днем в густом лесу, так вдруг сквозь перепутанную чащу его мыслей, как солнечные блики в лесу, пробились в сознании учителя Уртаева воспоминания... И мысль, как солнечный зайчик, пошла, поскакала...

«Не завидую вашим ученикам, товарищ старшина, придирчивый вы учитель»,— вспомнил он слова майора Сазонова и улыбнулся. Разглядывая нежную зелень деревьев, Уртаев с теплым чувством и грустным волнением подумал:

— Где он? Где остальные, с кем прошагал я длинные дороги войны?

III

— Разрешите, товарищ директор, я только на минуту,— стоя у дверей кабинета, сказал Синельников, смущенно топчась на одном месте.

— А-а-а, Синельников. Входи, входи... Молодец!.. Опять переходящее знамя у тебя, все второй цех.

— Я не из-за этого, товарищ директор...

— Садитесь, что дома какая-нибудь неприятность? — спросил директор, глядя на озабоченное лицо молодого рабочего.

— Нет, дома все в порядке... да вот эта вечерняя школа, как веревка на шее.

— А-а-а,— понимающе протянул директор, нахмутив рыжие кустистые брови.— Трудно совмещать?

— Да не так, чтоб трудно, но учитель попался вредный. Из-за пяти ошибок в диктанте он может так вымотать душу, что от любой грамоты откажешься...

— Да, грамматика — штука крутая,— с усмешкой сказал директор.— Бывали и у меня с ней неприятности...

— Хотя мне и неудобно, Николай Иванович,— продолжал Синельников, но прошу вас, на этой записке припишите сбоку, что читали ее и примете меры...

Синельников протянул директору записку.

— Это, чтоб отстал от меня учитель. Он вас несколько раз вызывал, но я не передавал вам,— говорил Синельников, виновато улыбаясь и глядя в лицо директору.— Нас по заводу больше семидесяти человек учится. Если из-за каждого будете ходить на собрание... что вам больше делать нечего?

— Двойку получил, значит,— промолвил директор, прихлопнув записку ладонью.— На родительское собрание зовут. Семьдесят сыновей — семьдесят родительских собраний,— усмехнулся директор. Он недовольно нахмурил рыжие брови и позвонил.

В дверь кабинета просунулась тщательно завитая белокурая голова секретарши.

— Парторга второго цеха... Срочно.

Голова секретарши исчезла. После минутного раздумья директор снова перечитал записку, вскинул на Синельникова рыжие брови и сердито сказал:

— Вы хотите, товарищ Синельников, чтоб я на себя взял ответственность за то, что вы не успеваете. Я должен, как вы советуете, написать на записке: «Читал, приму меры». А какие, дозвоьте узнать, я могу против этого принять меры? Поставить вас в угол? Нанять репетитора? Ну, что вы молчите?

В кабинет, не постучав, торопливо вошел невысокий подтянутый человек в военной гимнастерке. Поздоровавшись за руку с Синельниковым, потом с директором, сел.

— Вот,— протягивая парторгу записку, проговорил директор. Новые обязанности, директор завода должен посещать родительские собрания. Выдумывают тоже...

— Мне уже об этом говорили, некоторые из рабочих не успевают... Парторг посмотрел на Синельникова и сказал: — Хороший вы рабочий, Синельников, отличный организатор, бригадир, как же у вас так получилось, что в отстающие попали?

— Отстающие,— протянул юноша.— Какой я там отстающий. Учитель русского языка хуже икоты, как пристанет — так и трясет... Подайте ему, видите ли, работу на пяти страницах, да без единой ошибки. В конце концов я же не в ученые готовлюсь. Я рабочий.

— Рабочий, это верно,— прервал его пар-

торг.— Но от станка рабочего до кафедры учебного дорога не закрыта, тебе только восемнадцать лет... А потом и с рабочего сейчас спрос другой... К коммунизму идем. Посконной рубахой хвалиться сейчас не можно...

— Ладно,— прервал Синельников парторга.— Если из-за моей безграмотности мы не можем дальше строить коммунизм, я буду получать пятерки, но в цеху я буду работать на двойку...

— В цехе тебе работать на двойку никто не позволит, государственный план — это закон. Бросай школу,— сердито проговорил директор.

— Это не выход, Николай Иванович,— возразил парторг.

Белокурая голова секретарши снова просунулась в дверь.

— Какой-то учитель... Третий раз приходит... Сказать, что вас нет?..

— Какой учитель? А-а-а, говорите учитель? Пусть войдет,— приказал директор.

Секретарша бесшумно скользнула в полуотворенную дверь, и вслед за ней шагнул в кабинет мужчина в коричневом костюме. Он потянулся было к голове, чтоб снять кепи, но, глянув на директорский стол, вытянулся, подбросил правую руку к виску и четко отрапортовал:

— Старшина первого взвода пятой роты Уртаев явился по вашему... но запнулся, восторженно глядя майору Сазонову в лицо.

— Ах, вот в чем дело... теперь мне все понятно,— вставая и выходя из-за стола навстречу Уртаеву, засмеялся директор.

— Вольно... Вольно,— протягивая ему обе руки, проговорил Сазонов.— А ведь правильно я говорил, старшина, придирчивый вы учитель. Ну, садитесь.— И взяв со стола записку, спросил:

— Это ваша записка? Это вы приглашаете меня на родительское собрание?

— Я, товарищ майор,— порываясь встать, отчеканил Уртаев.— Опять же по долгу службы. Будут ваши рабочие плохо учиться — меня ругать будете.

— Знаешь что, Синельников, а ведь учитель твой прав, другому бы учителю я, может, и не поверил, но ему?..

Сазонов и Уртаев переглянулись.

— Верный он учитель, напрасно ты на него жалуешься, настоящий учитель. Я ручаюсь тебе — он правильный учитель, сам у него был когда-то на замечании...

— Не рассказывайте, товарищ майор. В ту ночь, помните, в местечке Бурно, вы сказали мне, «кто старое помянет, тому глаз вон».

— Помню, помню... Разве забудешь,— мечтательно произнес Сазонов, и, как мотив давно позабытой печальной песни, грустная тень скользнула по его лицу.

— Мы ведь с ним давно знакомы, еще с войны... Вот случайно встретились...

Сазонов замолчал. От кабинета директора побежали длинные нити по ушедшим дорогам войны.

— Фронтовые друзья, значит,— вставил парторг осторожно, чувствуя по голосу директора, что он взволнован встречей.

— Да, как сказать,— восторженно Сазо-

нов.—Особенной дружбы между нами не было.

Уртаев и Сазонов вновь переглянулись.

— Секрет,— усмехнулся Сазонов.— Разрешите не рассекречивать нашу тайну... Так я должен пойти к вам сегодня на родительское собрание? Жаль, что не могу, а было бы полезно... Я рассказал бы вашим ученикам, что им сейчас все-таки гораздо легче учить русский язык, чем вам тогда... А ведь вы в любых условиях не забывали этот язык... Я запомнил ваши слова, старшина: «Познать русский язык — это все равно, что совершить кругосветное путешествие». Да, вы правы. Книги всего мира переведены на этот язык. С этого языка весь мир переводит наши книги — учится, как перестроить жизнь на новых началах...

— Я ведь не думал, товарищ майор, что вы... что вас здесь встречу... Не знал я тогда, что вы инженер,— восхищенно проговорил Уртаев.

— Я и не был тогда инженером. Это после войны, как говорят, без отрыва от производства... Вы бы мне теперь устроили диктант.

И оба засмеялись...

— Так вот какое положение,— меняя тему разговора, озабоченно сказал директор.— У меня сегодня собрание. Видите ли, некоторые мои инженеры говорят, что наш завод, дескать, относится к нерентабельному производству. Не то что пивзавод или консервная фабрика, у них, мол, прибыль видна без увеличительного прибора... Наш завод не добился пока рентабельности, а это азбука нашей

хозяйственной деятельности... Вы помните, товарищ Уртаев, ту ночь? — Спросил директор и задумался.— Тогда в ту весеннюю ночь на чужой земле, когда я увидел первые машины с зажженными фарами, я думал о сегодняшнем дне... О нашем труде. О том, какая работа ждала нас впереди... Мне казалось страшным, почти невозможным поднять из-под пепла нашу жизнь... Заводы, наши фабрики... Но жизнь победила...

Он встал и, подавая Уртаеву руку, виновато сказал:

— Так извините меня, что не могу присутствовать сегодня на родительском собрании. По долгу службы, как любите вы сами говорить.

— Я пойду вместо вас, Николай Иванович, на родительское собрание,— сказал парторг, с волнением глядя то на учителя, то на директора. Я пойду. Надо сделать завод рентабельным, а рабочих образованными.



ОЧЕРКИ и СТАТЬИ

ПЛИЕВСКИЕ ТРОФЕИ



узей Кирова. Огромные тихие комнаты. В мягкой тишине музея со стены, как живой, смотрит Киров...

Остановись и посмотри, юноша. Здесь на мертвых кусках мрамора и бумаги — живая борьба твоих отцов и братьев... Смотри, здесь все говорит о том, что жизнь принадлежит только тем, кто неустанно борется за нее...

Стеклянные ящики, в них шашки японских генералов, золотое оружие немецких и австрийских офицеров — это трофеи Плиева. Поодаль от трофея аккуратно выглаженный китель Плиева, прожженный пулей врага, костюм, в котором он прошел свой славный путь...

У стеклянного шкафа стоит пожилая женщина. Она взволнованно снимает очки и снова надевает их, внимательно присматриваясь к чему-то... Подхожу и я к этому шкафу, и вдруг, посмотрев мне в лицо, она говорит:

— Вам, наверное, странно, что я все время не отхожу от этого шкафа, не смейтесь, я вспомнила отца, прожженный рукав его старого бешмета.

— А отец ваш, по-видимому, когда-то тоже воевал? — спрашиваю я, не понимая, почему китель Плиева так напоминает отцовский бешмет.

— Нет, нет,— смущенно мотает она головой.

— Расскажите,— прошу я ее, но она, ничего не ответив, отвернулась и снова нагнулась к шкафу.

Потом, догнав меня у входа, она сказала:

— Слушайте, я расскажу вам, какая связь между кителем Плиева и старым бешметом моего отца.

* *

*

Был осенний день, очень яркий, красивый,— говорит она.— Мне было тогда совсем мало лет, восемь, а может, и меньше. Еще до восхода солнца уезжала я с отцом ломать кукурузу. Вы знаете,— продолжала она,— по утрам осенью у нас холодно, октябрь рябит и щетинит кожу... Двухколесная арба отца. Скрипят колеса, отец оправдывается вслух, что нет времени съездить на станцию за дегтем, а я знаю, что у него нет денег. Лошадь у отца старая, пегая, на один глаз слепая, она все время сворачивает с дороги, и тогда отец ругает ее на чисто русском языке. В кузов арбы всунута корзина, плетенная из хвороста.

Мы едем в поле. Длинная хворостинка зажата под мышкой отца, вожжи в левой руке, пальцы правой руки у него не сгибаются, дорогим янтарем просвечивают мозоли на его ладони. Арба дрожит на неровностях и коч-

ках, дрожит его согбенная спина. Он заботливо смотрит на меня через плечо, ласково морщится кожа у глаз, и, улыбаясь мне, он говорит:

— Держись крепче, руками держись, скоро приедем...

Арендованная десятина отца находилась на «тугановских холмах». Отец несколько дней подряд не приезжал домой, ночевал в поле. Сломал всю десятинку кукурузы, собрал урожай в кучи, укутав кукурузу стеблями.

— Главное сломать, вывезти успею,— говорил отец матери.

Старая одноглазая лошадь отца еле волочит в гору пустую арбу.

— Но-о-о! Чтоб тебя волки сожрали.

Дорога размыта — кочки, ямы. Наконец взбираемся на гору, и остаются позади ложбины и крутые изгибы дорог. Как мучная пыль на мельничных жерновах, на шуршащем золоте кукурузы пороша раннего инея. Далеко на запад, кажется, под самый Эльбрус, убегают зрелые поля, на юг до самых лесов, на север, на восток — все поля, поля... Пригрело солнце. Как детские слезы, капает оттаявший иней с листьев кукурузы.

— Тпру, тпру!

Арба накренилась и, упершись одним колесом в межу, остановилась. Я соскочила с арбы. В ногах щекотная дрожь — пятнадцать верст простояла на коленях, упираясь то в дно арбы, то в стенки корзины. Прихрамывая, ступаю на мокрую зелень. Из-под стеблей пожелтевшей кукурузы она кажется сочной, как весенняя трава. Я глажу ее, опа-

ленную первым морозцем, мне жалко, что придет скоро зима и эта трава умрет под снегом...

— О бог, создавший вселенную, если ты есть, то почему допустил такое? — слышу крик отца.

Он, как помешанный, бегает по полю, разбрасывая ногами кучи стебля. Сбросил папаху, рвет ворот бешмета, обегает полосу с края до края, выкрикивая:

— Почему позволил? Почему не убил его лошадь! Почему не превратил его в каменный столб, когда он воровскими руками брал мою кукурузу, кукурузу бедняка...

У отца украли кукурузу. У него пять дочерей без земельного надела. Сына у него нет.

Отец присел на мокрый стебель и заплакал. Мне страшно видеть плачущего отца... Я много раз видела слезы матери, но отец никогда не плакал. Глядя на него, плачу и я.

— Не плачь, найдем кукурузу, — сурово говорит отец. — Только вот скажи, как ты думаешь, есть бог или нет? — вдруг спросил он и растерянно глянул на меня.

Я пожала плечами.

И отец, будто разозлившись, громко воскликнул:

— Бога нет... не было его... Так и матери скажи... обманщик он, вор...

— Таким и помню его, моего бедного старика, — произнесла она скорбно и подвела меня к стеклянному шкафу... — Попался мне тогда под руку его старый стеганный бешмет.

— Но какая же связь между старым бешметом вашего отца и простреленным кителем Плиева? — спросила я снова.

Но она не ответила на мой вопрос, а продолжала:

— Потом солнце висело посредине необыкновенно синего, синего неба. Отец неподвижно сидел на смятом кукурузном стебле и молчал... О чем он думал? Теперь жалею, что не спросила его... Может, он видел сквозь горькие годы своей жизни тот свет, что озаряет сегодня жизнь его детей и внуков?..— мечтательно закончила женщина и задумалась.

— Так вы недосказали...— осторожно промолвила я, боясь спугнуть то внутреннее вдохновение, которое овладевает порой человеком и которого мы потом стесняемся.

— Пустым кукурузным стеблем набил отец кузов арбы,— находясь еще в плену воспоминаний, продолжала она.— Лежать в арбе было мягко, отец сидел ко мне спиной. Он не торопил теперь лошадь, и лошадь сходила с дороги...

— Нет бога, нет, доченька, не защитил он бедняка, не заступился... А если бы ты мальчиком была... Верхом бы ездила... Опорой бы стала. Вместо вас пятерых мне б одного сына... Защитил бы, а с войны б со славой пришел...

Потом смущенно и тепло глянув мне в лицо, она тихо сказала:

— Он мечтал всю жизнь о сыне... о герое, а мы, как назло, были девочки.

— А все-таки я не поняла, почему вам китель Плиева напоминает отцовский бешмет?

— Отец мой погиб в 1919 году, когда Шкуро со своим отрядом бродил по Осетии... Отца принесли в дом уже умирающим... Рукав его

старого бешмета был прострелен, а грудь промокла от крови... Хотя и не совершил мой отец таких подвигов, как Плиев, но увидев китель Плиева, его простреленный рукав, я вспомнила эту январскую ночь и его последние слова:

— Смотри, дочка, как умирают люди... Запомни, хотя ты и не вырастешь мужчиной, женщиной тебе быть суждено, прожить жизнь без подвигов... Разве это жизнь?..

Мы обе молчали. Я не смела ее больше спрашивать. Только с нежностью и какой-то робостью я смотрела на ее седую голову и на грудь, где горел орден Ленина.

В МОЕМ ГОРОДЕ



снова в своем родном городе, в столице республики — Дзауджикау. Воскресный вечер. Театральная площадь полна народу. Смех, шутки, традиционные приветствия. Старик лет восьмидесяти со старушкой направляются в театр. На ней шелковый платок с длинной бахромой. Эти платки можно увидеть только здесь, их плетут золотые руки осетинок, издавна искусных мастериц. Мне все здесь так знакомо—и ажурные платки, и расшитые пестрые чувяки, и широкополые войлочные шляпы, и стариковские, старательно выглаженные, бешметы, и «рыцарские» поклоны молодежи. И я волнуюсь так, словно после долгой разлуки попала в родной дом, где прошло мое босоное детство...

В зеленоватом полумраке зрительного зала тепло и уютно. Приглушенный говор, шелест платьев. В первом ряду партера рядом со мной сидят старик в черкеске и старушка в шелковом платке с бахромой. По другую сторону от меня — юноша лет двадцати. На прислоненный к стулу костыль он бережно положил раненую ногу.

Третий звонок. Гаснет свет. Медленно, тяжело скользит бархатный занавес, открывая сцену. В зале наступает тишина. Опираясь на костыль, сосредоточенно подался вперед сосед справа. Упершись подбородком в сморщенную старушечью ладонь, застыла соседка слева. На сцене народный артист Тхапсаев.

Кем был бы он, если бы над его родиной не прошумели ветры Октября? Повторил бы судьбу отцов: тяжелый пот на чужой пашне и бессильная злоба...

А теперь, вот он, наш Отелло. В белом оскале зубов, в сдержанном порыве страсти протягивает он руки к Дездемоне.

Я смотрю на сцену, и воспоминания наплывают на меня. Это было давно, Тхапсаев умел тогда произносить, наверное, только слово «нана».

Жаркий летний день. Заброшенный амбар. Пахнет мышами. Посреди двора разостланы циновки, на них сушится пшеница. «Карауль, чтоб не поклевали куры, чтоб телята не разбросали», — наказывает мать и уходит на мельницу. Но разве усидишь?.. В амбаре за плотно прикрытой дверью репетируем «Двух сестер». В амбаре вместе с нами... мальчики, чужие, не родственники, значит, бывать им с нами нельзя. Упаси боже, узнают отцы! Такого преступления мальчикам не простят, поэтому они стоят поближе к двери, готовые удрать в любую минуту. И вдруг слышится крик матери: «Чтоб я увидела тебя мертвой... где ты? Смотри, что сделали телята с пшеницей...» Дверь амбара распаивается, и на пороге появляется мать. Она застывает, как в

столбняке, в синих глазах — ужас, на щеках — пятна злости. «Зачем вы здесь? Что вы делаете? Какому богу молитесь, безумные?..»

«Дездемона, голубка моя», — шепчет Отелло. Старушка-соседка, упершись локтями в колени и подавшись вперед, не сводит глаз со сцены.

Чья-то чужая мать. Морщинами щек, тусклым блеском глаз — как ты похожа на мою старенькую маму! Стоя когда-то в дверях амбара, она с гневом и страхом спрашивала меня: «Какому богу молитесь, безумные?»

Смотри, смотри, старенькая мама, хоть на закате дней своих познай настоящее счастье. Вот видишь: мы вышли из темных амбаров на сверкающие сцены. Ради того, чтобы увидеть сегодняшний день, стоило пройти через тысячи смертей, пережить обиды, горечь незаслуженных обвинений, злобный шепот недобрых соседей.

— Почему никто не подскажет, что она невинна? — волнуясь, шепчет моя соседка и тревожно оглядывает зал. В напряженном молчании зала слышится только прерывистый стон Отелло. И в тот момент, когда он душит Дездемону, я вижу слезы на морщинистых щеках моей соседки...

В вестибюле во время антракта в ровном гуле голосов и шелесте платьев ловлю обрывки фраз. «Из оперной студии...» «Наши студенты. Учатся в Москве, приехали на каникулы...» «Отдыхать поедешь в Цей?» «Нет, в Дзау-ком...»

Маленькая моя Осетия! Ты вошла в семью

республик и, как равная, расцвела в большом хороводе под лучами солнца.

Снова звонок. И снова зеленоватый полумрак зала. На сцене отрывки из «Авхардты Хасана» — кусок страшного прошлого. Народная артистка Каргинова. Она в черном платье, пряди ранних сединок выбиваются из-под платка. Сколько скорби в ее бледных сомкнутых губах! «На, возьми,— передает она сыну доспехи отца,— и если надежд моих не оправдаешь, струсил в бою, не сын ты мне тогда... Знай, к этому дню растила тебя, в жертву готовила для мести святой... потому и прижимала к горячей груди, потому и молоком поила своим»...

О, святые слова матери! Недаром сказал Горький, что без матери нет ни поэта, ни героя. С какой неугасимой силой звучит ее голос! Сколько матерей повторяли эти слова, прижимая к своей груди сыновей в годы великой войны, в годы нашей немеркнувшей славы. В подвигах этих лет потомки будут черпать отвагу и мужество... От берегов Сочи до ворот Берлина в шеренге знатных витязей сражались вы, верные сыны моего народа: Плиев на коне, Кочиев в рубке корабля, Кесаев под водой... В снегах России с пехотной лопаткой за спиной дрался, как лев, автоматчик Мильдзихов. Ни «Дикой дивизией» прошлого, ни трусостью настоящего никто не упрекнет тебя, моя Осетия! Ты выдержала проверку, и потому ты не обойдена любовью народа...

Зал гремит аплодисментами, скользит бархат занавеса. На сцене устало улыбается Отелло-Тхапсаев и прижимает цветы к лицу.

А на улице звездная ночь. Здравствуй, мой город! На площади перед театром — гранитный Ленин на пьедестале... Знакомый взлет его руки. У основания памятника — белые розы, фиалки.

И опять слышу я обрывки разговоров. «Домой едешь или остаешься в городе?» «Конечно, еду, кто утром коров подоит, детей накормит? Мне рано надо на ферму». Вглядываюсь: две женщины ждут трамвая. На них нет ни шляп, ни шелковых платьев. Это те простые мамы, по ситцевым платьям которых мы скучали, когда учились в больших городах. Мама, которые в долгие зимние ночи вяжут нам варежки и носки. Это те простые мамы, чьи руки жнут хлеб, доят коров, ведут трактора, готовят обеды. Мы гордо называем их: «наши колхозницы».

Мы привыкли видеть большие многоэтажные дома, поезда под землей, висячие мосты в горах, зажатые в металл реки, электричество на горных вершинах, апельсины в снегах Омска, пшеницу в песках... А вот это разве не гордость — колхозница-осетинка в театре!.. Давай вспомним, как жила ты раньше: всегда в черном платье, волосы спрятаны под платком. Ты могла пойти только на похороны, да и то только под присмотром свекрови. Ты смотрела на улицу через щель в заборе, жизнь твоя умещалась на ладони. В город тебя везли лишь тогда, когда в смертных муках ты не могла разродиться... А сейчас ты рождаешь в снежной чистоте родильной палаты. Не знахарка, не ворожея сидит у измученного твоего тела. Как

в теплом улье, весело живут твои дети в яслях и садах...

Два часа ночи. Брожу по сонному городу. Подходит милиционер, курносый, молоденький русский парень.

— Спать пора, гражданка,— говорит он. Смеюсь, хвалю город и ночь.

— Вы впервые в нашем городе?

— Да.

— Тогда завтра непременно посмотрите наши парки, музеи. В нашем городе все красивое.

— Да, да, я первый раз в вашем городе...

И я смеюсь, смеюсь от радости. Мне нравится, что этот юноша называет мой город своим...

Ночь. Огни и звезды. Здравствуй, мой город! Здравствуй, молодость наша!..

МОСКВА



товарищи пассажиры, подъезжаем к столице нашей Родины, Москве...» Много раз я слышала эти слова, но каждый раз по-новому переживаю их.

В купе нас четверо. Все — мои земляки, осетины.

За два дня пути мы успели сдружиться. Я узнала, что летчик из далекого горного аула Карца в 1941 году окончил с отличием летное училище, на фронт ушел младшим лейтенантом, а пришел с фронта подполковником. Сейчас он возвращается из отпуска.

Молодой человек в кожанке — из села Эльхотово. Он окончил Ленинградский горный институт и теперь едет в Свердловск, как он говорит, «поучиться искусству уральских горняков».

Третий спутник — прославленный звеньевой колхоза «Светоч», Герой Социалистического Труда.

— Я знал вашего отца, — говорит звеньевой, обращаясь к молодому инженеру, — он был близким другом Орджоникидзе. В ночь, когда отряд Шкуро подходил к Владикавказу,

погиб ваш отец. Орджоникидзе тогда сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь,— продолжал звеньевой.— Серго говорил, что мы будем жить в такое чудесное время, что сама смерть отступит перед нашим счастьем...

— Смерть...— повторил летчик задумчиво.— Прав был Серго — я был свидетелем того, как смерть отступала перед нами...

Выхожу из купе. За окном — пригороды Москвы.

...А может, действительно не было у моего маленького народа страшного прошлого? Земля? Я вспоминаю зацепившиеся на горных откосах кусочки земли, которые в бурю проваливались в бездны. Люди? Молодые девушки, проданные богатым старикам. Обездоленные сироты и отчаявшиеся вдовы, которые бросались со скал, принимая смерть с радостью, ибо жизнь была страшнее смерти. Ужасы кровной мести, которая пожирала целые фамилии. Какой нитью соединить это страшное прошлое Осетии с Тимирязевской академией, где осетинка защищает диссертацию?..

— Скажите, что вы чувствуете вот сейчас, подъезжая к Москве?.. — раздается за спиной молодой звенящий голос.

Я оглядываюсь. Девушка, натягивая на руку варежку, говорит:

— Я знаю вас, я тоже осетинка... Первый раз в Москве... Я буду учиться в консерватории. Давайте выйдем вместе.

Она прижимается ко мне, и кажется, что я слышу биение ее сердца.

— Я тоже волнуюсь так же, как и вы,

всегда волнуюсь,— я беру ее за руку, как ребенка.

...Курский вокзал. Мелькают белые фартуки носильщиков. Ослепляет свет. Алмазной россыпью сверкает снежная Москва.

— Вот она какая! В феврале мне исполняется восемнадцать лет,— и я буду впервые голосовать,— торопливо говорит девушка, будто боится растерять слова.

Я сажаю ее в такси и смотрю вслед...

Скажи, Москва! Каким именем может называть тебя эта девушка с гор, перед которой так светла жизнь и столько надежды впереди?

А я каким тебя назову именем, Москва, я — женщина с седой головой и юным сердцем, которую ты вызвала из мрака, сделала человеком?

ВЕЛИКОЕ СПАСИБО!



своих путевых записках по Кавказу Пушкин оставил запись: «Осетинцы — самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе».

Не смею спорить с тобой, Пушкин.— Так было...

Сизый осенний день, жидкая грязь, отливающая гляncем. Группа крестьян с лопатами отгребают от дороги кукурузу, смешанную с грязью. Перевернутая арба, будто в смущении, легла на бок. Поодаль — лошадь с подрезанными подпругами. Она мягко положила голову в грязь — виден только один глаз с фиолетовой поволокой, крупная слеза, большая, холодная, повисла у края глаза... Лошадь уже не дышит, потому на нее никто не обращает внимания. Но мне кажется, что она еще видит, и я кладу ей ладонь на глаз...

Долго жили в памяти осенняя грязь, черный пот на лицах крестьян, мертвый глаз лошади и прозрачная холодная слеза...

Помню вечер. Фигура отца у тлеющего очага. Мать робко ходит по комнате, настороженно поглядывая на отца. Затаив дыхание,

молчаливо сидят сестры, будто в доме умирающий больной... За окнами шелест дождя, в комнате звенящая тишина. Пала лошадь у отца, и осталось у него семь дочерей без земельного надела... Мать бесшумно поставила перед отцом фынг с тремя пирогами.

— Помолись,— прошептала она и стала поодаль.

В комнате еще тише, а за окном влажный шорох ночи... Отец встал и, с ненавистью глядя матери в глаза, спросил:

— Помолиться?.. Кому?

— Богу,— шепнула мать, показывая на пироги.

Отец отшвырнул ногой фынг... Я помню ужас материнских глаз, помню, как подбирала она пироги с полу.

Много лет прошло с тех пор, но сохранился в памяти страшно тихий вечер в доме, шорох дождя за окном, мертвый глаз лошади, слезы на глазах отца, страх и отчаяние в семье...

Сколько людей моего поколения могли бы рассказать подобные случаи из своей жизни... Если собрать вместе все эти воспоминания, то получилась бы из них большая-пребольшая книга, которую можно было бы назвать крестьянской судьбой.

Теперь, когда я смотрю на шагающий пионерский отряд (не скрываю, я гляжу с завистью), то думаю: «Счастливое племя! Ты не видело узких полосок земли, на которых, как проклятье, лежала судьба отцов. Счастливые, вы не видели живого городского, вы не знаете, что значит стоять на коленях на кукуруз-

ных зернах за то, что не сумел рассказать попу, во сколько дней господь сотворил мир...

Вы и представить не можете себе такого случая, чтоб на уроке учитель пересадил вас, говоря: — Ваши фамилии — кровники, вам нельзя сидеть рядом.

Вы не поймете, если рассказать вам, что, встречаясь в смертной вражде, косились друг на друга осетин и казак, не желая уступить друг другу дорогу. Преданиями стали для вас рассказы старших о том, как продавали молодых красивых девушек богатым старикам.

Разве можете вы понять, почему бросилась молодая женщина с горного откоса в бездну, навстречу плывущим туманам... Когда рассказывают вам об этом, вы недоуменно упрекаете отцов и матерей в безволие... Но нет, за этот пунцовый галстук, за ваше счастье всходило на виселицу много, много людей... Мой юный друг, преклони голову перед памятью тех, кто пронес мечту о человеческом счастье через века...

Пройдут годы... Ты станешь взрослым человеком и не поверишь старым учебникам географии. Исчезнут пограничные столбы, сотрутся кордоны государств, воздушные и сухопутные пути пройдут от городов к городам, и вы, счастливые, разговаривая на разных языках, будете понимать друг друга.

И необычайными и дикими покажутся вам распри предков...

Не удивляйся, читатель, моей исповеди: хочется мне поделиться своим счастьем с нашим Пушкиным. Ведь это он своими словами

«...взойдет она, заря пленительного счастья» предсказал и мою судьбу.

Да, Пушкин, страшной была судьба той Осетии, которую ты видел... Но если б теперь ты мог промчаться по дорогам моей Осетии...

Не скрою: так же, как при тебе, восходит солнце и заходит оно. Так же, как при тебе, сверкают наши ледники. Но там, где при тебе шумели водопады,—поднялись наши высокогорные санатории, а там, где парили орлы,—раскинулись альпинистские лагеря, там же, где рос «мох тощий да кустарник сухой», стелется розовый пух наших мичуринских садов и пасутся несчетные стада наших колхозов. А в ущелье, где таился когда-то твой нищий наездник, где на скрипучих арбах·волы тащили путников, сейчас мчатся «Победы». А Терек, что поразил тебя неистовым гневом, покорен теперь человеку — электростанции укротили его нрав. Люди, которые гнездились в горах, нищетой которых ты был потрясен, живут теперь озаренные светом нового солнца, и лампочки Ильича зажигаются в горах, заслоняя собой холодное сверкание звезд...

Не голословен мой спор с тобою, Пушкин. Я — потомок тех нищих осетин, что поразили тебя убожеством когда-то. Та осетинка, что не смела из-под черного платка поднять к солнцу скорбных глаз — теперь хозяином шагает по аудиториям Ломоносовского университета. Со сверкающей эстрады Московской консерватории, не робея, поет арию Антониды... Видишь,—дерзаю и я писать на твоём, на русском языке.

— Что случилось? — спросишь ты меня.

— В твоей России родилась та титаническая сила, которую мы называем партией большевиков. Это она принесла человечеству Великий Октябрь, вызвав народы России из мрака к свету. Это она, партия, дала жизнь и моей Осетии. Поверь, теперь бы ты был потрясен не нищетой народа, а дерзостью человеческой мысли: наши реки, которым природа наказала течь в одном направлении, повернули русла туда, куда повелел им человек...

Не удивляйся. Не менее тебя был бы поражен и Лермонтов, великий реалист, не вмещенный в жизнь. Он не узнал бы наших пустынь... Его гордые три пальмы погибли в пустыне. Знойные наши пустыни, где вихрь смерти пожирал жизнь, теперь шумят молодыми побегами лесов. В наши дни и поговорки, которые не раз говорила тебе твоя няня, устарели: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается»... Поверь, пройдет немного лет и прилетят в наши пустыни птицы, совыют гнезда, прозвенят ручьи, и изумленная луна увидит свой лик в голубом родничке...

А человек? Человека нашего ты и вовсе не узнал бы. Ты по праву гордился подвигом твоих современников — декабристов... А если бы ты видел, как молодая девушка всходила на виселицу, как юноша бросался на амбразуру дота, ложился со связкой гранат под танк... Старуха, не дрогнув, поджигала собственную хату, что годами сколачивала по кирпичику, ребенок, умирая от голода, делился крошкой хлеба со стариком. Уходил человек навстречу смерти, чтоб спасти жизнь...

Твоя родина, Пушкин,— наше отечество

большое — стала отчизной угнетенного человечества. Ей одной была суждена эта великая миссия... Ведь недаром же целые поколения русских революционеров прошли тысячи верст каторжных дорог: под кандальный трезвон они прошагали тайгу. В казематах Шлиссельбурга и Петропавловска, в Омском центральном они видели наш рассвет. Горьковский Данко сжег собственное сердце, чтоб осветить человеку дорогу к счастью. Великий человеколюбец Толстой, желая помирить человека с человеком и не найдя путей их примирения, в отчаянии воскликнул: «Не могу молчать!»

Как горд ты был бы сейчас судьбой отечества великого! На нашей советской земле, в твоей России помирился впервые в мире человек с человеком. Из России вышли те тропинки, которым суждено разрастись в необъятную дорогу коммунизма. На этой дороге встретятся и пожмут друг другу руки народы всего мира. На этой большой дороге, где на смерть стояли люди в защиту жизни, бок о бок с Россией стояла и Осетия моя. И твои слова: «Друг мой, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» никогда не звучали с такой силой, как в наши дни. Прости за гордость, но нет той гордости слаще, нет того сознания выше, что ты гражданин Советского Союза.

Любому и каждому из нас, если оглянуться назад на свою жизнь, то нельзя не сказать спасибо тебе, русский человек, великое спасибо за то, что ты собрал все народы и нации, направил на одну дорогу, вызвал их из мрака к свету.

Помню 1937 г. Детское село. Я — в прием-

ной Алексея Толстого. С бьющимся сердцем жду очереди. Я, осетинка, пришла в кабинет к большому русскому человеку спросить у него, смогу ли написать роман на русском языке?

На маленьком клочке бумаги секретарь написал мою фамилию, город, республику и национальность и понес в кабинет. В приемной нас было много, но меня в кабинет вызвали первую...

В жизни каждого человека есть такие события, может быть, короткие мгновения, которые решают судьбу человека бесповоротно.

Мне кажется, что в кабинете Алексея Толстого и была решена моя писательская судьба.

Я рассказала ему о себе. Он, большой писатель, не сделал изумленного лица, а попросил меня прочесть ему какие-либо куски из рукописи.

Выслушав, он спросил:

— Где и у кого вы учились русскому языку, и откуда у вас такая любовь к русскому языку?

Неожиданность вопроса меня не смутила, и я ответила:

— Русский язык у нас все любят, и все хотят знать, а училась я в горском педагогическом институте у русского профессора Васильева.

— Хороший у вас профессор и настоящий учитель. Я не удивлюсь, если через несколько лет ваш роман будет лежать на библиотечной полке рядом с моим романом. Работайте, только очень много работайте, и вы будете пи-

сателем,— сказал Толстой, подавая мне руку на прощанье.

Уйдя из кабинета Толстого, я долго и неподвижно сидела в Екатерининском парке у пьедестала пушкинского памятника. Мне хотелось встать и спросить у бронзового Пушкина: «Скажи, понимаешь ли ты, что случилось с Россией твоей?»

Помню и другую встречу. 1944 г. Гостиница «Москва». Приемная Николая Тихонова. Кровью дымились дороги войны. Страна лежала в развалинах... Но Николай Тихонов нашел все-таки для меня и время и слова. Он беседовал со мною. И когда я сказала, что война и такие книги, как мои, никому не нужны, он сказал:

«Не бросайте работу над романом, скоро кончится война, вернется человек к мирной жизни, и нам нужны будут книги, много книг о всех народах. Работайте. Быть писателем — это значит знать жизнь, любить эту жизнь».

В письмах Николая Тихонова, которые он писал мне во время работы над романом, я постоянно ощущала настоящую помощь писателя. Вспоминая работу над романом, особенно последние два года, когда издательство «Советский писатель» приняло роман к печати, я часто думала: «Откуда эта бескорыстность у русского человека?» И пришла к выводу: это просто особенность русского человека. Помочь всегда и каждому, помочь по-настоящему. Не нужно моих маленьких примеров. Достаточно больших примеров и необыкновенных дел, особенно за последнее десятилетие.

Очень часто меня спрашивают: «Расскажите, как вы стали писателем?» И тогда мне просто хочется сказать: «Я стала писателем, потому что есть Россия, есть русские писатели. Есть Советская власть».

Это чувство невысказанной благодарности я ношу постоянно в себе. Особенно, когда бываю в Москве, когда брожу по сверкающей огнями ночной Москве...

Я смотрю на нее, и мне хочется прижаться к ней и сказать: «Родная моя, я слов для тебя не нахожу, но знаю, что никогда, никому, ни за что тебя я не отдам... Потому, что нет второй такой, как ты. Ты любима и смуглой девушкой из Вьетнама. И корейский солдат, шагая по мертвым дорогам родины, любит тебя. И греческие матери, сыновья которых мучаются в казематах, надеются только на тебя. И безработный американский докер с надеждой взирает на тебя. И итальянский юноша Нелло Адельми, думая о тебе, нашел силу бороться за мир. И французская девушка Раймонда Дьен, вдохновленная твоими идеями, легла на рельсы, чтобы задержать поезд смерти, идущий в Корею. И турецкий поэт Назым Хикмет не испугался ледяного мрака одиночки, надеясь на твою защиту. И гордый сын негритянского народа Поль Робсон поет свои песни о тебе...

Кому из нас не понятна гордость Маяковского, когда он, протягивая американскому жандарму «молоткастый, серпастый, советский паспорт», воскликнул:

— Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза!

Хочется много прожить, многое увидеть. В яркий солнечный день пойти по широкой дороге, держа в ладони жаркую ручонку внука, и сказать ему: «И бабушкины седины были когда-то кудрями, носила и бабушка галстук на груди, хотя и не было у нее твоего детства, но жизнь, которая осталась позади, была полна борьбы и стремления; и в том наше счастье, что наше поколение было свидетелем того времени, когда заново перекраивался мир, когда лучшие мечты человека воплощались в действительность. В том и счастье нашего поколения, что каждый из нас вложил по кирпичу в здание коммунизма, что жили мы в ленинские дни, шли по его дороге.

Тяжело рождалась новая эра, но, родившись, она не умрет, так как наши идеи — это жизнь, а жизнь — бессмертна».



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДИНОЧЕСТВО.



I

осеннюю व्यожную ночь председатель колхоза вызвал к себе колхозницу Мадинат и сказал:

— Принимай бригаду, сама знаешь, что людей не хватает... Война.

Мадинат вскинула на председателя длинные ресницы и испуганно проговорила:

— Нет, не могу, с бригадой не справлюсь, страшно... А потом муж болен, ребенок, разве мне можно?..

— На печи лежать, конечно, легче, а что страна в крови тонет, живые под танк ложатся, так им по-твоему легче? Они могут, им под силу, а тебе бригадиром трудно?

— Нет, не потому, что трудно, не сумею,— перебила она председателя.

— Ну, как хочешь. Может быть, ты к старому мерину Серко на выгон пойдешь, будете вместе отдыхать? — сердито проворчал председатель.

Мадинат побледнела и стала ближе к столу:

— Разве я потому отказываюсь, что устать боюсь?.. Ладно, назначай, сам отвечать будешь, когда перепутаю...

— Перепутаешь, сама и распутаешь, иди, не стой...

И с этого дня кончились «бабьи» волнения Мадинат и начались «мужские» тревоги.

Домой она возвращалась поздно ночью. В ее маленьком домике, прикурнув у холодной печи, ждали ее терпеливо восьмилетний сын и параличный муж. Когда первый раз она вернулась ночью домой, навстречу ей, жалобно мыча, вышла неподоенная корова. Перешагнула порог темной комнаты — муж первый раз не поднял

с тахты трясущейся головы и не улыбнулся ей беспомощной больной улыбкой. Она виновато молча оглядела одетого спящего ребенка, остатки холодного ужина на столе.

Торопливо засучила рукава и вышла во двор.

В глухой тишине ночи звонко стучал ее топор, и допоздна тлел огонек в ее окне. Она стирала, варила на завтра обед, латала, штопала. Утром, уходя на работу, она подошла к постели мужа и ласково положила ему руку на плечо.

— Не дуйся, не на гулянку ходила... Не до того сейчас людям... Кругом столько горя, что своего горя не вижу... Говорят, что немец уже Ростов взял... Совсем мужчин в колхозе не стало... Не хотела, уговорили бригаду принять...

— А может, в секретари райкома пойдешь, если уговорить? — визгливо вскричал муж и неистово затрясся параличным телом.

— Не кричи! — тихо молвила она. — Понадобится — так и в секретари пойду... Не сидеть же мне со старой лошадей Серкой на выгоне... — Она повязала голову и с порога, не оглядываясь, бросила: — Кушать — на плите... Поздно приду.

И проходил ее день в непривычной для женщины работе. «Езжай с бойцами, покажи им сено, оно на твоём участке», — говорил ей председатель торопливо.

И она вела за собой эшелон красноармейских подвод.

Возвращаясь к вечеру уставшая, мокрая, на ходу перекусывала и шла в правление колхоза. Она внимательно выслушивала председателя, записывая план на завтрашний день в серую потрепанную тетрадь.

«На мельницу поехать, картошку в погреба запрягать, в город продукты сопровождать, кукурузу отобрать — перепрягать к весне на семена» — распорядилась она, и дивились подружки ее мужской сноровке и изворотливости.

— Ночь чтоб даром не пропадала, — обращалась она к подругам. — Зима, бойцам теплая одежда нужна... И, отделившись днем от «мужской» работы, ночью собирала Мадинат лучших швей своей бригады, и они сучили нитки, отделявали шкурки, шили полушубки и ушанки, стегали ватные брюки и куртки, вязали чулки и варежки.

Руки, необыкновенные руки матери, кто не знает ваших забот!.. Сколько мягких ушанок и пушистых варежек наготовили вы в долгие зимние ночи, недосыпая и недоедая...

II

Немцы были под родной деревней Мадинат.

— Оставлять врагу только пустоту...

И уходили все в горы. Казалось, не только люди, но и земля жалась к подножьям гор, к древним дедовским пещерам, к непроходимым тропам.

— «Как же так? — думала Мадинат, оглядывая дали колхозных полей, — а та жизнь, которую делали сами, не доедая и не досыпая? А то счастье, за которое бились отцы и братья, а та радость, которую получили дети от отцов, — на кого бросить эту жизнь, кому ее доверить?»

— Не уйду, — наотрез отказывалась она, когда председатель предложил ей эвакуироваться.

— На, возьми эти журналы; в них наша колхозная слава прописана, спрячь, сбереги... И ключи от амбаров на, хотя в них надобности нет, амбары пустые...

И погрузилось село в страшное одиночество.

Октябрь укутал в молочно-белую пелену туманов дороги и неснятые поля кукурузы. Мелкий дождь ознобной сыростью струился в садах и огородах. И за свои тридцать лет Мадинат впервые ощутила ужас одиночества и щемящую тоску по утраченной жизни, которая казалась ей теперь еще роднее и ближе.

— Что же дальше? — металась она в тоске, кутая больного мужа и прижимая маленького сына к груди.

Каждое утро она по привычке являлась в просторный двор колхозного правления и, одинокая, бродила по пустым амбарам, прислушиваясь к звенящей тишине брошенного села.

«А где же Серко? Где же старая лошадь? А впрочем, кому она, старая, нужна?» — подумала Мадинат.

И в один дождливый день пришел Серко в село. В большом горе никто не вспомнил о старой лошади, которая с ранней весны и до первых холодов пасется на выгоне. Долгая трудовая жизнь дала ей это право.

Наступила осень, расплзлась слякоть по дорогам, и заскучала старая лошадь по человеческому голосу.

Медленно переставляя больные ноги, она спустилась с холма в ложбину и, лениво пощипывая вкусные травы, дотащилась до реки.

В немом недоумении она долго стояла у берега реки — брод был глубок — и, наконец, омочив висячий, весь в колючках дутый живот в холодной осенней воде, благополучно выбралась на прямую дорогу, ведущую в село. За околицей, у колхозных сараев, она остановилась: куснула мокрую соломинку с крыши, обнюхала брошенную зерночистилку. Моргая белесыми мутными глазами, она оглядела ворота и вошла во двор правления колхоза.

Все было ей здесь знакомо, но все было не так, как раньше, хотя и сарай, и дом были на старом месте.

Вот кузница, где ковали лошадей, но куда ее уже давно не водили. Вот длинный низкий коридор, где в перерывах от работы отдыхали кузнецы, подавая ей кусок хлеба. Вот широкий амбар, где хранился ячмень и куда не было доступа другим лошадям, а ее пускали из почтения к ее старости, и ребята кормили ее с ладошек вкусным янтарным зерном...

Серко, влекомый воспоминаниями, подошел к амбару и остановился. Двери амбара были настежь раскрыты, а на полу зеркально сверкала коричневая лужа, и с пробитой крыши со звоном падали капли дождя.

Серко огляделся кругом и, не выдержав сиротливого одиночества, пошел вон со двора, ища людей, их теплого участия... Мадинат встретила старую лошадь у своих ворот и торопливо подошла к ней.

Серко шумнодохнул и черной обвислой губой прильнул к ее плечу.

— Тоскливо, Серко, тоскливо и тебе. Ну, пойдем во двор, — сказала Мадинат и потянула старую лошадь за гриву. И в это время раздался хохот. Она оглянулась и увидела группу фашистских солдат. Они громко гоготали, указывая на старую лошадь, на ее обвислый живот. Мадинат торопливо загнала лошадь во двор, но пьяная ватага солдат последовала за нею.

Увидев фашистов, параличный муж Мадинат, влоча за собой ногу, трясясь, вышел во двор и стал рядом с Серко, прося жену войти в дом; но Мадинат осталась стоять рядом, предчувствуя недоброе.

Вдруг один из солдат облил Серко бензином, а другой поднес горящий пучок соломы...

Параличный больной затрясся и занес свою палку над головой фашиста. Раздался выстрел, и больной упал...

Серко заметался, закружился на месте; мутные глаза его заволокло дымом, и он рухнул на землю рядом с трупом паралитика. Стало душно, глаза наполнились слезами. И промелькнуло в старой голове лошади воспоминание о том, как она однажды с тугим возом сена, кувыркаясь, падала с холма в глубокую низину... Тогда ее спасли люди, перерезав подпруги и подняв на ноги. Ей перевязали живот, и она поправилась.

Да, да... Ей люди всегда помогали, но что она сделала этим «людям»?

Нет, нет, Серко, не подумай перед смертью о человеке плохо...

НАША ДОРОГА



Минеральные Воды. Аэропорт. Жду посадки. Я помню эти места во время войны. Казалось, ничто не вызовет больше к жизни эту серую раздавленную танками степь, окаменевшие в развалинах села, вырубленные сады.

Вот старый дуб стоит у края дороги... Изуродованные войной, его мертвые ветки, будто скорчившись от боли, уныло торчат во все стороны. Но ближе к стволу пробились молодые побеги, и в густой зелени листы, перелетая с ветки на ветку, чирикают воробьи. В кругленьком пушистом гнездышке, жадно разинув желтые рты в ожидании корма, пищат птенцы. Упрямо, неудержимо-властно жизнь побеждает смерть...

Прошло только шесть лет после войны. Сквозь густую зелень садов проступает алый кирпич новых построек, белеют длинные здания ферм и инкубаторов. В оранжевом зареве степи, оставляя в воздухе ажурные завитки серой пыли, стремительно проносятся машины, груженные хлебом... И хочется помахать им рукой, как машем мы марширующему отряду пионеров, и крикнуть:

— Здравствуй, жизнь!

Розовеет верхушка Бештау. В фиолетовой дымке раннего утра он напоминает далекий призрачный мираж. Бештау... Глядя на тебя, на эти вот степи, кто из нас не вспомнит Лермонтова! Может быть, на этом месте, в такое же раннее утро стоял он когда-то, и сквозь дымку веков великий реалист видел рассвет нашей жизни, и поэтому, защищая человека, он бросил вызов даже богу...

Пушкин проезжал по этим дорогам. Несокрушимый, откинув гордую голову, он мчался навстречу страшному гробу Грибоедова. Неукротимый мятежник, он видел пути грядущего, знал, что из России пойдут те тропинки, которые разрастутся в необозримую дорогу коммунизма. Он был уверен, что на этой большой дороге встретятся народы и пожмут друг другу руки, потому так смело бросил миру:

...Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык...

В своих путевых записках по Кавказу Пушкин оставил запись: «Осетины — самое нищее племя на Кавказе». Не смею с тобой спорить, ратоборец. Так было... Но если б теперь ты мог промчаться по дорогам моей Осетии...

Не скрою: так же, как при тебе, восходит солнце и заходит оно; так же, как при тебе, сверкают алмазы наших ледников, но там, где при тебе были лишь дебри, теперь поднялись наши высокогорные санатории, а где парили орлы, разбиты альпинистские лагеря. Где рос «мох тощий» да «кустарник сухой», стелется розовый пух мичуринских садов и пасутся стада наших колхозов. А в ущелье, где таился когда-то твой нищий наездник, где на скрипучих арбах волы тащили путников, сейчас мчатся «Победы».

А Терек, что поразил тебя неистовым гневом, покорен теперь человеку. Высокогорные плотины электростанций укротили его буйный нрав. Люди, которые гнездились в горах, нищетой которых ты был потрясен, живут теперь озаренные светом лампочки Ильича...

Не голословен мой спор с тобой, Пушкин. Я потомок тех нищих осетин, что поразили тебя убожеством когда-то... Та осетинка, что из-под черного платка не смела поднять скорбных глаз, теперь хозяином шагает по аудиториям Ломоносовского университета, со сверкающей эстрады Московской консерватории, не робея, поет арию Антонида. Видишь, дерзаю и я писать на твоём языке...

«Что случилось?» — спросишь ты меня. Не обесудь, не сумею коротко ответить, рассказать не сумею,

что случилось с Россией твоей, с нашей родиной большой...

Поверь, теперь бы ты был потрясен не нищетой, а дерзостью человеческой мысли: реки, которым с сотворения мира повелено было течь в одном направлении, повернули русла туда, куда им повелели. Не удивляйся, знойные пустыни, где зеленый вихрь смерти пожирал жизнь, теперь шумят молодыми побегами наших лесов. Пройдет немного лет, и прилетят туда птицы, соведут гнезда, прозвенят ручьи, и изумленная луна увидит свой лик в голубом роднике...

А человек! Человека б нашего ты и вовсе не узнал. Были дни... Молодая девушка сама всходила на эшафот, юноша ложился на амбразуру, закрывая пулемет; старуха, не дрогнув, поджигала хату, что годами складывала по кирпичу. Ребенок, умирая от голода, делился крошкой хлеба со стариком. Рать за ратью уходили войска, умирали... И все это ради человека, чтоб сделать человека просто по-человечески счастливым на земле. Это твоя Россия, наше отечество стало родиной угнетенного, измученного человечества. Горьковский Данко сжег свое сердце, чтоб осветить человеку дорогу к счастью. Великий человеколюб Толстой, желая помирить человека с человеком и не найдя путей их примирения, в отчаянии воскликнул: «Не могу молчать!» Как горд он был бы сейчас судьбой великого отечества.

На нашей Советской земле впервые за все время существования человечества примирился человек с человеком. Но что бы сказал Толстой, если б ему хоть краем глаза довелось взглянуть на кровавые дороги Кореи, на пепелища городов, на слепых детей, на седых девушек, на удушенных стариков. Я вижу большую руку Толстого, протянутую над миром. Я слышу его гневно-протестующий голос: «Не могу молчать!»

Нет, нет! Нельзя молчать, если матери хотят видеть живых детей, если юность хочет пройти по сверкающим дорогам жизни. Если старость имеет право на покой и радость,— то нельзя молчать...

— Граждане пассажиры, посадка на самолет Минводы — Москва,— слышу голос диктора, и обрываются мысли...

Жарко светит солнце. Сверкают серебряные крылья самолета.

Волнуюсь. Внутри самолета белоснежный холод

закрахмаленных чехлов мягких кресел. Трепетно-тонкий шелк занавесей на окнах. Ковровая дорожка на полу.

— Смотри, мама, какой маленький, маленький трактор,— говорит пятилетний Валерик матери. Он едет на Сахалин к отцу, который работает там агрономом. Валерик первый раз летит на самолете, поэтому невозможно оторвать его курчавую головку от окна. Он вплотную прижался к стеклу и изумленно восклицает: — «Мама, и корова маленькая... И дядя тоже, вон, маленький, маленький, как трактор»...

Это, Валерик, тебе с высоты птичьего полета кажется трактор игрушечно-маленьким, но он настоящий. Если бы ты мог сейчас пролететь над выжженными полями Кореи, ты бы также воскликнул: «Смотри, мама, какая маленькая, маленькая пушка...» Но она не игрушечная, не верь, Валерик.

Может быть, вот сейчас, в эту минуту, корейка, такая же молодая, как твоя мама, прижимает к груди окровавленный трупик сына и обезумевшими глазами смотрит в небо, вслед американскому самолету, который убил ее сына...

Прозрачно-голубое небо стелется перед глазами. Зеленоватый бархат земли пересекают серебристые ленты дорог, по которым скользят маленькие, маленькие машины... Дороги... наши дороги, политые кровью наших людей, овеванные славой. Сколько мечтаний, гордых мыслей, необычайных предложений и необыкновенных проектов идут по ним в Москву. Тебе, Валерик, твоему поколению суждено идти по этим дорогам... Пройдут годы, ты станешь взрослым человеком и не согласишься старым учебникам географии. Немудрено: исчезнут пограничные столбы, сотрутся границы государств, воздушные и сухопутные пути пройдут от городов к городам, и вы, счастливое племя, разговаривая на разных языках, будете понимать друг друга, и необычайными и дикими покажутся вам распри предков...

Садимся на Внуковском аэродроме. У входа огромный плакат: «Привет делегатам Московской областной конференции сторонников Мира!».

Шумом, радостной сутолокой жизни встречает меня Москва. В лифте гостиницы «Москва» сталкиваюсь лицом к лицу с тоненькой девушкой. Ее большие темные глаза на смуглом маленьком лице изумленно-

радостно разглядывают людей... Она вьетнамка. Наши комнаты рядом. Остановившись у своих дверей, она улыбнулась мне и прошептала: — Мир.

Комок волнения подкатывается к горлу, я торопливо протягиваю ей руку и отвечаю: — Мир. Только одно слово, и мы поняли друг друга. Слово, которое реет сейчас над землей, слово, которое понятно всем матерям земли.

И в эту короткую минуту, как никогда, еще приятнее мне становится гордость Маяковского, который, протягивая когда-то американским жандармам советский «молоткастый» паспорт, говорил: «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Ночь... Сверкающие огни Москвы. Я смотрю на тебя, родная, и слов для тебя не нахожу, но знаю, что никогда, никому, ни за что тебя в обиду я не отдам... Вижу, как любима ты этой смуглой девушкой из Вьетнама. Знаю, что корейский солдат, шагая по мертвым дорогам родины, любит тебя. Греческие матери, сыновья которых мучаются в казематах, надеются только на тебя, безработный американский докер, уволенный с работы за слово «мир», тоже надеется на тебя. Итальянский юноша Нелло Адельми, думая о тебе, нашел силу бороться за мир. Французская девушка Раймонда Дьен, вдохновленная твоими великими идеями, легла на рельсы, чтоб задержать поезд смерти, идущий в Корею. Турецкий поэт Назым Хикмет не испугался ледяного мрака одиночки, надеясь на твою защиту. Прославленный сын негритянского народа Поль Робсон поет свои песни о тебе.

Перед силой такого упорства слепые совы Уолл-стрита обречены на смерть. Крепнет фронт Мира. Все честные люди всех национальностей, всех племен и народов ставят свою подпись под Обращением Всемирного Совета Мира. Каждая подпись за мир — это смертный приговор поджигателям войны.

Воля народов мира непоколебима.

ПРИМЕЧАНИЯ

Основу настоящего сборника составляют рассказы, опубликованные при жизни автора в сборнике «Самое родное» (Дзауджикау, 1951). Кроме того, за последние годы удалось разыскать ряд рассказов, очерков и статей, которые по тем или иным причинам при жизни автора остались неопубликованными или были напечатаны в газетах и оказались забытыми.

Сборник состоит из двух разделов,— в первом помещены рассказы, во втором очерки и статьи. Внутри каждого раздела материал расположен в хронологическом порядке. В раздел «Приложение» вынесены более ранние редакции того или иного произведения. Тексты рассказов, опубликованных при жизни автора, перепечатываются без существенных редакционных изменений.

В произведения, которые публикуются нами впервые по черновым рукописям, внесены необходимые поправки. Характер этих редакционных поправок оговаривается в примечаниях.

РАССКАЗЫ

ЧИНАРОВАЯ РОЩА

Печатается по тексту газеты «Дзержинец» от 20 апреля 1934 года,— органа Ленинградской артиллерийской академии РККА. Это первое произведение Езетхан Уруймаговой, появившееся в печати. Свою публикацию редакция газеты снабдила пометками: «Отрывок из повести» и «Перевод с осетинского языка».

В том же номере газеты была напечатана заметка «О нашем литературном кружке», в которой говорится о том, что литературный кружок Академии работает уже более трех месяцев. В его составе — слушатели Академии и их жены. Высокую оценку на одном из занятий кружка получила повесть Е. Уруймаговой (Скорняковой по мужу). Автору «удалось в прекрасных художественных образах нарисовать горскую природу, аул, показать некоторые бытовые особенности горцев». Позднее рукопись повести была сожжена автором.

КАРАКУЛЕВАЯ ШУБА

Рассказ был написан в июне 1943 года в Баку. Затем переработан и опубликован в военной газете «На страже» (Полевая почта № 23691) в июле — августе 1943 года (№№ 94, 95, 97 и 100). Мы печатаем 1—5 эпизоды рассказа по авторизованной машинописи, хранящейся в литературном отделе Северо-Осетинского музея краеведения. Концовка рассказа (под рубрикой № 6) печатается по тексту газеты «На страже» от 11 августа 1943 года, № 100.

В газетном тексте начало рассказа дано в такой редакции:

«Август. Жаркие безветренные дни. Густая желтая пыль кутает сады, дороги, дома, людей.

Кругом зияющие пустотой амбары, кладовые, сараи. В безмолвной пустоте брошенных квартир — тоска и мятущаяся скорбь.

Нескончаемой цепью тянулись люди, табуны коней, стада коров, машины в узкие ворота Дигорского ущелья. Никогда еще это древнее ущелье не было свидетелем подобного зрелища.

Оставалось позади то дорогое, к чему привыкаем с колыбели: отчий дом, завод и школа; любовь и дружба; мечты и дела — все, без чего не жил из нас никто. В судорожной тоске сжимались сердца. Люди выбегали за околицы, заслоняли глаза от солнца, смотрели вслед уходящим и безмолвно, всем существом вопрошали: куда? зачем? как же мы?

Но серая вереница изю дня в день уходила глубже в горы.

Потом наступила тишина, от которой болело в ушах.

Перед ущельем последнее село. Половина села живописно разбросалась в долине, другая уползала на холмы. Бурливая горная река делит село пополам. Летом река мелкая, прозрачная, весной бурливая, многоводная.

На самом красивом месте крутого берега...

СЕДЬМОЙ СЫН

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Датируется мартом — апрелем 1944 года. В фондах литературного отделения Северо-Осетинского музея краеведения хранится три черновых варианта этого рассказа. Два из них (фондовый номер 352/68) имеют первоначальное название «Пока катится камень с гор» и помету: «Отрывок из повести «Переселенцы», Баку, 25 марта 1944 года». Однако повесть «Переселенцы» написана не была. Больше никаких данных об этом замысле мы не имеем. В качестве эпиграфа взяты две последние строчки из стихотворения Н. Тихонова «Когда весь город празднично одет» (1937).

«Немец в Ростове...» Немецко-фашистские войска захватили Ростов-на-Дону в самом конце 1941 года, но через несколько дней были выбиты Советской Армией. Вторично Ростов был занят ими летом 1942 года.

ПЕСНЯ ПОЛОНЯНКИ

Публикуется с небольшими стилистическими поправками по авторизованной машинописи, хранящейся в литературном отделе Северо-Осетинского музея краеведения. Написан не ранее февраля — марта 1945 года. Основанием для такой датировки является сам текст рассказа. Польский город Краков и его окрестности, где происходят события рассказа, были освобождены от гитлеровцев частями Советской Армии 19—20 января 1945 года. В сильно сокращенном виде под названием «Священная месть» рассказ был напечатан в военной газете «На страже» 1 мая 1945 года.

«Ты ли стонешь, Украина...» — стихи этой песни заимствованы из комедии Т. Г. Шевченко «Сон» (1865).

У Шевченко стих «Пока день настанет» читается: «Пока солнце встанет».

НАСТОЯЩАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Печатается по тексту сборника «Самое родное». В фондах литературного отделения Северо-Осетинского музея краеведения хранится рукопись № 352/67, на последней странице которой имеется помета: «Лето, 1946 год. Село Дигора». Некоторые мотивы и образы этого рассказа были взяты Е. Уруймаговой из рассказа «Одиночество», написанного в 1944 году, но при жизни автора неопубликованного.

НЕИСТОВЫЙ

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Датируется 1947 годом.

У СТАРОГО СКЛЕПА

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Датируется 1949 годом. Основная тема рассказа — кровная месть — широко разработана в ряде произведений Е. Уруймаговой. Об этом см. примечание к рассказу «Два детства».

В ГОРАХ

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Датируется 1950 годом. Впервые рассказ был опубликован в газете «Социалистическая Осетия» в номерах от 18 и 22 октября 1950 года. Газетный текст представляет сокращенный вариант и имеет другое название — «Навстречу жизни».

ДВА ДЕТСТВА

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Датируется 1950 годом. В фондах литературного отделения Северо-Осетинского музея краеведения хранится черновая рукопись, озаглавленная «У пионеров». В конце рукописи имеется помета: «Дигора. Июль 1947 года». Это один из ранних вариантов рассказа, посвященного данной теме. В нем более подробно был разработан мотив кровной мести, которую всячески под-

держивала реакционная верхушка дореволюционной Осетии. Пользуясь приемом воспоминаний, Е. Уруймагова рассказала историю двух девочек, любящих друг друга. Их родители были кровники, и священник церковноприходской школы не разрешал им сидеть на одной парте. Не понимая, почему поп лишает их дружбы, девочки несли в своем сердце горькое чувство. В рассказе вспомнился и другой эпизод: сорок лет враждовали две фамилии, немало страданий принесла им дикая злоба кровной мести. В борьбе с бандами Шкуро кровники примирились. В окончательную редакцию рассказа с некоторыми сокращениями вошел лишь второй эпизод. Замысел произведения о двух кровниках, примирившихся в борьбе с бандами Шкуро, возник у писательницы еще в 1924 году («Новогодняя ночь»). Затем этот замысел по-разному варьировался в повестях «Чинаровая роща» (1934), из которой был опубликован лишь небольшой отрывок, и «Бессмертие» (1935—1936 годы), которая не сохранилась. Об этом см.: Д. Гиреев, «Езетхан Уруймагова». Орджоникидзе, 1959, стр. 12.

Интересные сведения, относящиеся к творческой истории рассказа, приводит в своих воспоминаниях Н. Тихонов. В свое время, будучи в Осетии, он услышал следующий рассказ от одного из местных старожилов: «Революция — лучшее лекарство против кровничества... Я еще помню, как были кровниками Уруймаговы и Такоевы. Это было в Дигоре. Сколько крови было, сколько слез женщины пролили. К чему все, — никто не понимал, думать никто по-другому не хотел, раз так надо по обычаю, убивай и все. Революция иначе заставила думать. Когда Шкуро пришел уничтожить Дигору... все, кто мог носить оружие, встали на ее защиту. И в окопах встретились два кровника — Асланбек Уруймагов и Тембол Такоев. За революцию, за власть Советов сражались и погибли рядом, как герои» (Н. Тихонов. «Пламя Осетии». Журнал «Знамя», 1963, № 9, стр. 77—78).

ЗАПИСКА

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Датируется 1951 годом.

НА РАСКОПКАХ

Печатается по тексту сборника «Самое родное». На последней странице черновой рукописи имеется помета: «Дзауджикау. 1951 год. Апрель».

НА РАССВЕТЕ

Публикуется впервые по черновой рукописи, которая хранится в литературном отделении Северо-Осетинского музея краеведения. Фондовый шифр МОП 352/143. Предположительно датируется 1951 г.

СУД

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Датируется 1951 г.

ДВЕ МАТЕРИ

Публикуется впервые по черновой рукописи, хранящейся в фондах литературного отделения Северо-Осетинского музея краеведения. В рукописи есть помета: «1952 год». Тематически рассказ связан с рядом других произведений писательницы (очерками «Москва», «Наша дорога», статьей «Великое спасибо» и др.) Публикуется с небольшими стилистическими поправками.

«Не о том скорблю, подруженьки...» — ария Антонины из оперы великого русского композитора М. И. Глинки «Иван Сусанин» (1836).

ПОМОЩНИК

Публикуется впервые по машинописной копии, хранящейся в литературном отделении Северо-Осетинского музея краеведения. Текст рассказа дает основание предполагать, что написан он был не ранее 1952 года. Сохранилось письмо Е. Уруймаговой от 15 января 1953 г. на имя И. К. Русанова, бывшего в ту пору ответственным секретарем редакции газеты «Социалистическая Осетия». В этом письме между прочим говорилось: «Посылаю вам рассказ «Помощник» на конкурс... На этот раз я, кажется, уложилась в газетные рамки. Прошу вас, если рассказ подойдет, то отнесите к образцам строже, т. е. не старайтесь сделать их лучше,

чем онц есть. Не лакируйте характер, не «охарашивайте» образ. Некоторые фразы, т. е. обороты речи, доверяю вам, как доверяла всегда. В остальном прошу оставить рассказ, как он есть...» Однако в газете рассказ напечатан не был. Мы публикуем его с небольшими стилистическими поправками.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

Публикуется впервые по авторизованной машинописи. Рассказ был написан, видимо, в конце 1954 г. и отослан автором в редакцию альманаха «Дружба народов». Сохранилось письмо от 12 января 1955 г., в котором редакция извещала Е. Уруймагову о том, что рассказ для альманаха не подходит. Мы публикуем рассказ с небольшими стилистическими поправками.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

ПЛИЕВСКИЕ ТРОФЕИ

Публикуется впервые по черновой рукописи с большими стилистическими поправками. Рукопись хранится в литературном отделе Северо-Осетинского музея краеведения. Датируется июлем 1948 г.

П л и е в И с с а А л е к с а н д р о в и ч. — Генерал армии, дважды Герой Советского Союза, уроженец села Старый Батакоюрт Северной Осетии. Начав свою службу в Красной Армии в 1922 году, Плиев прошел славный боевой путь до крупного военачальника Советских Вооруженных Сил.

В МОЕМ ГОРОДЕ

Печатается по тексту сборника «Самое родное». Сохранилось несколько черновых вариантов, которые находятся в литературном отделе Северо-Осетинского музея краеведения. В конце одной машинописи этого очерка рукой Е. Уруймаговой сделана помета: «Дзауджикау. Июль 1949 года. В ночь 25-летия Осетии».

Т х а п с а е в В. и К а р г и н о в а В. — Выдающиеся актеры Северо-Осетинского музыкально-драматического театра.

«Две сестры».—Речь, очевидно, идет о пьесе осетинского драматурга Е. Бритаева «Две сестры».

«А в х а р д т ы Х а с а н а».— Патриотическая пьеса известного осетинского писателя Дабе Мамсурова, поставленная на сцене Северо-Осетинского драматического театра в годы Великой Отечественной войны.

Кочиев Константин Георгиевич. — Моряк, Герой Советского Союза.

Кесаев Астан Николаевич.— Моряк-подводник, Герой Советского Союза.

Мильдзихов Хадзимурза Заурбекович.— Будучи пехотинцем-разведчиком, отличился в борьбе с гитлеровскими захватчиками, за что в марте 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

МОСКВА

Печатается по тексту «Литературной газеты», на страницах которой очерк был опубликован 8 февраля 1951 года. Тематически связан с очерками «В моем городе» и «Наша дорога», публицистической статьей «Великое спасибо», рассказом «Две матери» и др.

ВЕЛИКОЕ СПАСИБО

Печатается по черновой машинописи, которая хранится в литературном отделении Северо-Осетинского музея краеведения. Впервые статья была опубликована 25 ноября 1951 года в газете «Социалистическая Осетия». В газетном тексте есть значительные сокращения и небольшие дополнения. Из газетного текста мы включили абзац, начинающийся словами: «В твоей России родилась та титаническая сила...» Кроме того, по газетному тексту сделаны отдельные исправления. В статье обобщены большие жизненные впечатления, использованы многие автобиографические факты. Вот почему статья имеет непосредственную связь со многими художественными произведениями Е. Уруймаговой (романом «Навстречу жизни», рассказами «Два детства», «В моем городе» и др.).

«Взойдет она, заря пленительного счастья...» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К Чаадаеву» (1818).

«Мох тощий да кустарник сухой...» — В стихотворении Пушкина «Кавказ» (1829) это выражение читается так: «Там ниже мох тощий, кустарник сухой».

«Его гордые три пальмы...» — Имеется в виду стихотворение М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» (1829).

«Друг мой, отчизне посвятим...» — В стихотворении А. С. Пушкина «К Чаадаеву» (1818) эти строки читаются так: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

«У русского профессора Васильева.» — Всеволод Александрович Васильев с 1924 по 1940 год был заведующим кафедрами русской, а затем всеобщей литературы Северо-Осетинского пединститута. У него учились многие поэты и писатели, пришедшие в осетинскую литературу в 30 годы. Скончался в марте 1964 г.

«Помню и другую встречу. 1944 год». — Об этой встрече Н. Тихонов рассказал в своих воспоминаниях «Пламя Осетии». См. журнал «Знамя», № 9 за 1963 год, стр. 88.

«В письмах Н. Тихонова, которые он писал мне...» — Об этом подробно см. в статье Д. Гиреева «Езетхан Уруймагова и Н. Тихонов», альманах «Советская Осетия», № 23, стр. 129.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДИНОЧЕСТВО

Публикуется впервые по авторизованной машинописи, хранящейся в литературном отделении Северо-Осетинского музея краеведения. На последней странице имеется помета: «Дигора, 1944 г.». Трудная судьба женщины, на плечи которой в годы войны легли «мужские» хозяйственные заботы, волновала Е. Уруймагову. История Мадинат получила свою дальнейшую разработку в рассказе «Помощник» (1952), а образ старой лошади — в рассказе «Настоящая должность» (1946).

НАША ДОРОГА

Публикуется впервые по авторизованной машинописи с небольшими стилистическими поправками. На

основании текста датируется весной 1951 года. В конце машинописи стоит подпись: «Е. Уруймагова. Член Комитета по защите мира Северо-Осетинской автономной республики». Это дает основание предполагать, что статья готовилась для публикации в газете. Однако напечатана она не была. Позднее этот материал был использован Е. Уруймаговой в статье «Великое спасибо».

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» — строфа из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник» (1836).

«Осетины — самое нищее племя на Кавказе...» — Уруймагова, видимо, процитировала по памяти строчку из «Путешествия в Арзрум» (1836) А. С. Пушкина. Точный текст этой цитаты: «Осетинцы — самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе».

«Поет арию Антониды...» — Имеется в виду Антонида, героиня оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» (1836).

«Горьковский Данко». — Имеется в виду герой рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» (1894).

«Не могу молчать!» — Под таким названием в 1908 году Л. Н. Толстой опубликовал свою статью, в которой протестовал против смертных казней.

«Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!» — Строка из стихотворения В. Маяковского «Стихи о Советском паспорте» (1929).

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы Езетхан Уруймаговой. Вступительная статья Девлета Гиреева.	3
--	---

Р а с с к а з ы

Чинаровая роща	19
Каракулевая шуба	24
Седьмой сын	36
Песня полонянки	48
Настоящая должность	65
Неистовый	73
У старого sklepa	87
В горах	93
Два детства	109
Записка	115
На раскопках	120
На рассвете	131
Суд	138
Две матери	145
Помощник	151
По долгу службы	163

Очерки и статьи

Плиевские трофеи	181
В моем городе	187
Москва	193
Великое спасибо	196
Приложение	
Одиночество	209
Наша дорога	214
Примечания	219

Езетхан Уруймагова
Седьмой сын

Редактор Суменова З. Н.

Художник Сабанов Х. Т.

Художественный редактор Кануков У. К.

Технический редактор Дзгоев А. А.

Корректоры Лазарева Г. Я.,

Сырхаева В. Т.

Сдано в набор 24-VII-1964 г. Подписано к печати 9-III-1965 г. Формат бумаги 70х92¹/₃₂. Печат. листов 8,48. Учетно-изд. листов 8,09.

Заказ № 913. Изд. № 76. Тираж 5000.

ЕИ 00471. Цена 30 коп.

Северо-Осетинское книжное издательство,
г. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 2.

Республиканская книжная типография,
г. Орджоникидзе, ул. Тельмана, 16.

Цена 30 коп.